

КОНТР ПУНКТ

1

1999

№1

январь 1999

в номере:

- Лев Аннинский
- Леонид Жуховицкий
- Александр Кушнер
- Юлия Немировская
- Д. А. Пригов
- Евгений Сельц
- Борис Стругацкий



ПУНКТ

КОНТР

Взгляд из Америки

русская литература

**Книжные магазины, в которых вы можете
оформить подписку на “Контрапункт”:**

- **Arlekin Russian Bookstore**
5909 Geary Blvd.
San Francisco, CA 94121
(415) 751-2320
- **Books & More**
4118 Dundee Drive
Murrysville, PA 15668
(724) 327-3463
- **City of Joy**
8710 Golf Road 1
Niles, IL 60714
(847) 296-8849
- **Gare Melamud**
6962 Milbrook Park Dr. #2D
Baltimore, MD 21215
(410) 415-6987
- **La Petite Russie**
SNABO, Inc.
4953-4955 Queen Mary Rd.
Montreal, QC H3W 1X4
Canada
(514) 737-0447
- **Interbook II**
2754 West Devon Avenue
Chicago, IL 60659
(773) 973-5536
- **Kniznik Book Store**
1916 Welsh Road Street #4
Philadelphia, PA 19115
(215) 969-7082
- **Petropol**
1428 Beacon Street
Brookline, MA 02446
(617) 232-8820
1-800-404-5396
- **Planeta**
3817 North Oakland Ave.
Shorewood, WI 53211
(414) 964-1035
- **Studio S**
4355 Murray Ave.
Pittsburgh, PA 05207
(412) 422-8311

КОНТРАПУНКТ

Ежемесячный литературный журнал

**№1
январь 1999**

Бостон

В 1999 году будет выпущено 9 номеров журнала

КОНТРАПУНКТ

Журнал основан в 1998 году

Издатель: Kontrapunkt Publishing House Inc.

Почтовый адрес:
258 Harvard St. #374,
Brookline, MA 02446

Телефон: (617) 232-4366

Факс: (617) 713-0418

E-mail: editor@k-punkt.com

Internet: <http://www.k-punkt.com>

Главный редактор
Михаил Володин

Редакционная коллегия:
Наум Коржавин (Бостон)
Александр Кушнер (Санкт-Петербург)
Игорь Померанцев (Прага)
Дина Рубина (Тель-Авив)
Татьяна Толстая (Москва)

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за достоверность информации и использование
в произведениях имен людей и названий организаций лежит на авторах.
Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
Материалы могут быть перепечатаны из журнала только по согласованию
с редакцией. При перепечатке ссылка на “Контрапункт” обязательна.

© Kontrapunkt Publishing House Inc.

© Идея, название и обложка журнала “Контрапункт” – Михаил Володин.

По традиции новое издание должно открываться программной статьей. В статье принято отвечать на вопросы о том, каким оно – издание – видится редактору. Пойдем наперекор традиции.

СТАТЬИ РЕДАКТОРА НЕ БУДЕТ. БУДЕТ СТАТЬЯ ЧИТАТЕЛЯ.

Редактор анализирует новые направления в литературе и культуре, ищет ответы на вечные вопросы и стремится донести свои знания и взгляды до окружающих. Читатель никого не пытается учить (а и попытался бы, вряд ли получится). Он просто читает и, если ему нравится прочитанное, пускает книжку по знакомым. А если нет – берет другую книгу.

Редактор – по натуре цербер, он портит со всеми отношения и несчастлив сам. Быть читателем радостно. На моем столе рукописи замечательных прозаиков, поэтов и публицистов. Со многими из них я знаком, с некоторыми дружу. Почти все произведения прежде нигде не публиковались. Я – их первый читатель. Первоочитатель. Я “проглатываю” автора за автором, проживаю их жизни, переживаю вместе с ними и постоянно чувствую, как за моей спиной стоите вы – те, кто будет читать все это после меня. Признаться, я вам завидую: у меня-то все восторги уже позади, а вам они только еще предстоят.

Одно тревожит: а вдруг вам не понравится то, что нравится мне? Мой вкус окажется далеким от вашего?

Чем я определяю круг своего чтения? Талантливостью автора... Нескучностью сюжета... Незаемным взглядом... Все так, но есть одно для меня главное: язык.

Когда-то Иосиф Бродский сказал, что гражданственность поэта определяется отношением к языку, на котором он пишет. Гражданственность читателя, на мой взгляд, определяется тем же. Нас, русских (или русскоязычных, если угодно), разбросало по всему свету – от Австралии до Канады, от Израиля до Германии. Мы многое потеряли (кто-то скажет – нашли, и тоже будет прав), но одно осталось неизменным: мы сохранили свое граж-

данство в стране, имя которой – Русский Язык. По тому, как мы обращаемся с языком, что на нем читаем, можно судить о том, какие мы граждане.

Язык – критерий отбора. Он, остающийся великим и могучим, невзирая ни на какие общественные катаклизмы и повороты личных судеб, нас объединяет, переносит в детство и в первую любовь, строит мосты к навсегда, казалось бы, потерянным именам и датам. Он – наша родина. Будем обращаться с ним бережно и осторожно. А потому не ждите сенсаций. Не будет копания в грязном белье, мальчиков с пятью головами и собак-людоедов, не будет безумных (умные будут!) детективов, где много крови и мало смысла, не будет пошлости и “желтизны”. Русская литература достаточно богата, чтобы все это осталось вне ее.

Если это – концепция, то единственная. Другой – у журнала, который вы держите в руках, нет. Потому что концепция – установление рамок, прочерчивание границ, размежевание. А значит, деление “на своих и врагов”. Нас много, живущих вдали от России, и мало для выпуска литературного журнала. Нельзя делить и нельзя делиться. Ни по возрастному, ни по национальному, ни по политическому признаку. Мы и так разделены – с родными, друзьями, с дорогими местами, сами с собой. Задача журнала, выходящего за границей, в “контрапункте” по отношению к центрам русской культуры (отсюда и подзаголовок “Русская литература. Взгляд из Америки”) объединять. На основе языка, культуры, общей истории...

Есть и еще одно объяснение названию журнала. “На контрапункте” каждый из нас ведет свою отдельную личностную мелодию. Но только взаимодействие людей рождает общество, а из произведений отдельных авторов складывается литература.

Михаил Володин

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Александр Кушнер

* * *

Узнай мы сегодня, что света конец предreshен,
Назначены сроки и врежется в землю комета, –
Таков ее крен, безутешный и страшный наклон,
Все можно исправить, но только не это, не это,
Какой бы прекрасной нам жизнь показалась опять,
О как мы ее возжелали бы вновь, полюбили!
Пошли бы на выставку: живопись – вот благодать!
А смерть не ворвись к нам –
и выставку б мы пропустили.

Узнай мы сегодня, – схватились бы мы за стихи,
Вот только что выбрать...
я Пушкина выбрал бы тоже...
Узнай мы сегодня... что страхи? какие грехи?
Ты, запах сирени, вы, приступы лиственной дрожи...

Поехали б в Африку! Я никогда, никогда
Не думал увидеть Найроби и Килиманджаро
С его ледником – голубое пылание льда...
А пламя любви... А последняя в жизни сигара...
Последний бокал золотого, как рай, коньяка...
Посматривали бы на небо... все ближе, все ближе
Комета... Дай руку... Ах, вместе и гибель легка!
Так слушай же музыку, радуйся морю, живи же...

* * *

Музыка – не проповедь, не умствование, –
Невзначай рассказывает мне,
Что произошло в мое отсутствие
В дорогой, немислимой стране.

Я сказал: немислимой. Воистину,
Непереводимой на слова,
Хвойной? Хвойной. Лиственной? И лиственной.
Скажут: Вена, слышится: Нева.

Губы там горят чуть-чуть припухшие.
Не расскажут, кто их целовал...
Моцарт там в слезах читает Пушкина,
Забежав за рюмочкой в подвал.

Нет, еще чудней, еще немислимей!
Уточнять не надо, – засмеют.
Безрассудно! Храбро! Независимо
От того, что делается тут.

* * *

И тишина сочинена Шопеном,
Как самое трагическое из
Его произведений в мире брэнном:
Не вальс, не вздох, не полька, не каприз,
Не горькая улыбка, не мазурка;
Не правда ли, осмысленнее всех –
Её момент, способный даже турка
Обворожить: жестокость – это грех.

Что женщина тогда ему сказала
 В мужском костюме, с именем мужским,
 Что он расслышал грозные начала,
 Для коих вечность – только псевдоним,
 Смешной и приблизительный, которым
 Мы накрываем, – так удобней нам, –
 Ночной сквозняк, гуляющий по шторам,
 И плеск листвы, с обидой пополам?

КИПАРИС

Кипарис никогда не шумит,
 Черный, в трубочку свернут, как знамя.
 Словно он своих темных обид
 Не желает явить перед нами.
 Только сбоку какой-нибудь клок,
 Словно прядка в высокой прическе,
 Отстает золотой завиток,
 Нерасчетливый – в строгом наброске.

Я на черную эту свечу
 Оглянусь, суховатость, зажатость.
 И когда говорят – помолчу
 И почувствую странную радость,
 Словно вдруг на мгновение с ним
 Я совпал в чем-то важном и даже
 Он признать меня склонен своим
 В этом шумном и тесном пейзаже.

* * *

В шахматы с компьютером играть.
 У него и ход забрать обратно

Можно, и накручивать он прядь
Не начнет на палец, и приятно,
Проиграв, скотом его назвать
И в чехол укутать аккуратно.

Ох, уж эти мне друзья, друзья...
Я о них недаром вспомнил тоже.
Жалко только: выпить с ним нельзя.
И не надо пить – себе дороже.
Где-то есть счастливые края,
С ветерком, гуляющим по коже...

* * *

О, как ты пахнешь, пыль, прибитая
Дождем случайным на дороге!
Какая радость позабытая!
Как мысль о счастье и о Боге.
Дорога, всем ветрам открытая,
И солнце в знойной поволоке.

Идешь забывшись, по инерции,
Во сне, не валко и не шатко,
Ах, только где-нибудь в Венеции
Бывает так же сердцу сладко!

К чему стремиться? Ездить незачем.
К шмелям присматривайся, мухам.
Богатство, власть – какие мелочи!
Завидуй детям и старухам.
Не страшно слабости и немочи.
И пусть земля нам будет пухом.

* * *

“Что ж нам делать? Не хочется спать...”

Н.А.Некрасов

Затихает вторая столица.
Темноты опускается шлем.
Ночь. Успели мы всем насладиться.
Помнишь, что предлагалось затем
В неподкупных стихах? Неужели
Мы бесчувственной тех, кто до нас
На людские несчастья смотрели,
Не сводя с них внимательных глаз?

Или это красивая фраза?
Барин пишет стихи про народ
И низводит стихи до рассказа?
Но стихи-то мне нравятся, – вот
Что бесспорно и значит, все было
Так, как, пасмурный, он написал.
Или нет того гнева и пыла
В нас – не сердце, а черный провал?

Я не знаю. Насильно не станешь
Горевать. Или поняли мы,
Что куда, спохватившись, ни глянешь –
Всюду залежи горя и тьмы
Вперемешку с надеждой и благом?
И насколько счастливей нас те,
Кто помочь порывались беднякам,
Различая просвет в темноте!

* * *

Вот чему я завидую: прусской
Синей, кобальту синему – к ним
Море тянется ленточкой узкой
Из-за гор и струится, как дым;
Я завидую, жизнь свою взвесив,
Красной охре, зеленой земле.
Тюбик с краскою “поль веронезе”,
Полежи у меня на столе,
Чтоб на ближнем распаханном плане
Солнце заткано было листвою,
Понимали меня англичане
И японцы носились со мной.

О, блестящая желтая, ну же,
Пригождайся, кармин и краплак,
Вместо слова, которому нужен
Перевод, уводящий во мрак.

Ничего не умеет художник
Объяснить: подходи и смотри.
Он способен залезть в подорожник,
Как прозаик в мадам Бовари;
Я завидую жестам, мычанью,
Междометиям, блеску белил,
Не сужденью его – замечанью
О медовом оттенке перил.

Я палитру бы высветлил тоже,
Да мешает мне ужас земной,
На протезе идущий прохожий
И соседский ребенок больной.

Я завидую жаркому маку
И воде, разлагающей свет,
И на мачте спортивному флагу,
Мой учитель Моне, а не Фет!

Я бы мог в полосатой тельняшке
И соломенной шляпе сидеть
На корме, попивая из фляжки,
А не сумрачным словом владеть.
Я завидую ультрамарину,
Как висит на веревке белье...

Я тебя никогда не покину,
Черно-белое слово мое!

РУССКИЙ ЯЗЫК: говорим, читаем, пишем...

- любимые книжки – старые и новые;
- охота на синонимы и антонимы;
- нескучное "правильнописание";
- сочинения "Если бы дети были главными", "Синдбад-Мореход в Нью-Йорке", "Можно ли прожить без вранья," и еще тысяча и одна тема;
- любимая игра детей, родителей и учителей: "Эрудит";
- кроссворды, головоломки... и многое другое.

Профессиональный преподаватель. Рекомендации.

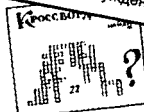
617-566-5869

Задание 4. Перепиши. Где необходимо, вставь мягкий знак. Поставь вопросы к глаголам.

ЗАЧЕМ НАМ УЧИТ(?)СЯ?

Чем больше учиш(?),
тем больше знаешь(?),
Чем больше знаешь(?),
тем больше забываешь(?),
Чем больше забываешь(?),
тем меньше знаешь(?),
Чем меньше знаешь(?),
тем меньше забываешь(?),
Вопрос: так зачем на учит(?)ся?

Найди логическую ошибку в данном рассуждении.



В БЛИЗКОМ ОТДАЛЕНИИ

Повесть

Леонид Жуховицкий

Тогда мне только исполнилось двадцать четыре, и мы впятером – Федька, я и еще трое – были в Крыму на халтуре. Хотя много ли это слово скажет? То была счастливая халтура молодости, когда деньги в общем не так уж и важны, а важно лето, море в полгоризонта, ухоженный пляж в ста метрах от рабочей площадки, набережная с ее пестрым поздним гуляньем, “павильон” под старой шелковицей – наш фанерный сарайчик на четыре койки, не скудеющая бутылка местного вина в ведре у колодца, базарчик, заваленный крупными помидорами, ранними дыньками, золотисто-красными персиками – и горы, горы в близком отдалении...

Да и сама наша халтура давала радость.

Мы подрядились расписать три стены – две в клубе пансионата, одну в столовой, – и эти большие поверхности, доставшиеся нам серыми и шероховатыми, теперь зависели от нас и дразнили обилием возможностей. Утвержденные когда-то эскизы давно затерялись, нам дали чьи-то наброски – ни масштаба, ни цвета – твори не хочу! Федька выкинул лозунг: “Сделаем халтуру халтурно!”, и мы ухватились за веселую формулировку. Пусть другие обманывают заказчика, выдавая вместо искусства халтуру, – мы тоже обманем: вместо халтуры – искусство!

Главным у нас был мужичок со странной фамилией Бондарюмко – видно, еще над прадедом подшутил какой-нибудь пьяный писарь. Звали его Володя, возраста не имел: может, тридцать, может, пятьдесят. Серый мятый костюм с мятым же галстуком не снимался даже в жару. Единственный из нас он не имел отношения к живописи и единствен-

ный из нас уже был членом Союза художников. Как попал? А черт его знает! Год назад он вступил в кооператив на Бульварном кольце – думаю, это сделать было потруднее.

Бондарюмко был человек ценный. Он вел все наши дела, заключал договоры, оформлял бумаги – нам оставалось только расписывать стены. Время от времени он совал нам какие-то ведомости, раза два в месяц давал деньги: то по сорок рублей, то вдруг по сотне. Мог бы, в принципе, не давать ничего – кормили бесплатно. А в Володиных финансовых интригах никто из нас и приблизительно не разбирался.

Жил Володя не с нами, а в отдельной комнатке при клубе – иначе, говорил, местные начальники неправильно поймут...

В тот вечер мы сидели у себя в “павильоне”, вернее, рядом, за вкопанным в землю тесовым столом. Попискивал транзистор. Двое играли в шахматы, я “болел”. Тут же Бондарюмко что-то делил и множил в ученической тетрадке. Мой друг Федька, приземистый, лохматый, космы на глаза, просто сидел: то молчал, то посвистывал. Медленно пустела бутылка, медленно уменьшалась горка персиков. Большая голая лампа – провод свисал с шелковицы – раскатала по струганым доскам стола словно бы белый блин, ее яркое, с золотистым отливом сияние обесцвечивало звезды.

За полосой зелени, отделявшей наш сарайчик от ограды пансионата, колебался негромкий шумок: то ли дышала набережная, то ли ниже, на пляже, ровно колыхался прибой.

Федька, не умеющий пить медленно, был уже хорош, он стал задирать Бондарюмку:

– Сыми галстук! Ну, сыми галстук!

– Не сыму, – бормотнул Володя, не поднимая головы от тетради.

– Тогда погладь.

– Не буду. Платить станут меньше, – спокойно объяснил Бондарюмко. Он был не обидчив

– Это еще почему?

– Так я ихний. А наглажусь, стану ваш.

– Не станешь, – возразил Федька и шлепнул ладонью по колену: его джинсы были в разномастных заплатах.

– А это одно и то же, что мода, что рванье. Ты вот, надо будет, костюм заведешь. А мятый галстук все равно не наденешь. Не ихний.

Тут из-за ограды, с набережной, послышалось пение: сильный женский голос вел старинный романс. За шумом и шелестом, за голосами, за писком нашего транзистора слова смазывались, оставалось лишь ощущение силы и артистичности. Магнитофон, что ли, врубили?

Я прикрутил колесико приемника и тронул Федьку за локоть:

– Ну-ка, стой.

В тишине сразу стало понятно, что голос живой.

– Концерт, что ли? – без интереса предположил Бондарюмко.

Романс кончился, на набережной пелось другое, голос поднимался и падал. Я потянул Федьку за плечо:

– Пошли?

Он лениво ругнулся.

Я пробежал между деревьями, кустами сирени и в два движения перемахнул зубастую железную ограду – мы и на пляж так лазили, чтобы не обходить. На набережной я сразу увидел довольно плотную толпу: человек пятьдесят или больше грудилось вокруг просвета, откуда и слышался голос. Я продавился внутрь и увидел поющую.

Рослая девушка лет двадцати, а может, восемнадцати, сидела прямо на асфальте с гитарой на коленях. Черная майка со странным вырезом сзади открывала загорелые плечи и полспины. Широкие желтые штаны у щиколоток были перехвачены тесьмой, ноги босы.

Даже по вольным южным меркам вид ее был довольно экстравагантным.

Потом я про вид забыл: уж больно здорово она пела. В то время я больше любил, когда поют как бы для себя, не на пуб-

лику. Она же свои песни играла: жест, взгляд, придыхание, резкая смена интонаций. Иногда она по три раза повторяла ударную строку или вообще переходила на декламацию.

Это было откровенное актерство. Но ведь и актерство – искусство. Довольно быстро я перестал следить за манерой, приемами, сделанностью жеста: захватило. И теперь все казалось уместным: и вырез в полспины, и желтые штаны с завязками у щиколоток, и театральные жесты, и резкие взлеты голоса, и резкий, по контрасту, шепот, и декорация – фонарь сбоку и море за спиной.

Ей хлопали. Она делала паузу для реакции и пела опять.

Потом песенный репертуар, видно, кончился – она перешла на стихи. Цветаева, Пастернак, кто-то из современных. Читала она хуже, чем пела, с надрывом, и жесты словно выпирали. Но и тут хлопали, я же первый – слишком неожиданным был этот подарок, импровизация на асфальте с морем за спиной.

Мимо гуляли. Кто-то останавливался, примыкая к толпе, кто-то проходил, не прислушиваясь, перешагивая через мои кеды. Два парня, сидевшие почти у ее ног, курили; дымки всплывали от ее колен и тоже, как фонарь или море, казались частью декорации.

Я машинально попробовал схватить ее лицо (уже тогда сидела во мне эта привычка), но не получилось; осталось лишь ощущение щемящей, притягивающей, беззащитной вульгарности – ее было жалко, как ребенка, который кривляется под взрослого, не понимая, как это выглядит со стороны. В принципе, тогда я ценил в актерах благородную сдержанность, без наигрыша и суеты, без желания понравиться. В ней же не было ни сдержанности, ни благородства, она открыто подавала себя; и я не мог понять, чего в этом больше – наивности или порочности...

Гораздо позже понял – это было нормальное актерское начало.

Благородная сдержанность, если ты не гений, стены не

прошибает – по крайней мере, в молодости. А наивность прет, как танк, чем меньше сомнений, тем лучше. Прет, как танк, и попутно учится, обретает опыт, даже индивидуальность проявляется быстрее – жизненные углы обдирают наносное, остается свое. Если уж человек занялся искусством и не отступает, рано или поздно хоть чему-то да выучится. Только один набирает личность в тишине и безвестности и уже потом, если хватит сил и характера, разом прыгает через три ступеньки на четвертую – а другой к тому времени, упорно карабкаясь, оказывается на той же самой четвертой ступеньке. Короче, так на так и выходит. Что лучше? А уж это кому как. Скорей всего, как вышло, так и лучше: опыт безвестности и опыт карабканья стоят друг друга...

Видно, репертуар у юной артистки был невелик, или устала, или еще что – она замолчала и, пока хлопали, отошла шага на три и села на асфальт рядом со скуластенькой загорелой девочкой в коротких черных шортах, черной водолазке и черной же мужской шляпе с вялыми полями. Та курила. Певица в желтых штанах молча взяла ее сигарету, затянулась пару раз и вернула хозяйке. Сидевший тут же громоздкий большеротый малый достал из кармана начатую пачку, но артистка покачала головой.

Скуластенькая поднялась, сняла свою шляпу – и вдруг пошла по кругу, держа ее в руке. Окружающие сперва не поняли. Тогда она сказала с приятной улыбкой:

– Вы не хотите помочь бедным студентам?

Дочерна загорелая и в черном, она походила на ловкого лукавого чертика.

Кто-то отошел. Кто-то рассеянно зашарил по карманам.

Артистка крикнула негромко:

– Не надо!

Скуластенькая с той же улыбкой, не торопясь, шла по кругу.

– Ну, я прошу тебя! Иначе больше не буду петь!

Прозвучало резко и чуть капризно. Скуластенькая слов-

но бы не слышала, шляпа в ее руке не дрогнула. Остановившись рядом со мной, она спросила проникновенно:

– Никто больше не хочет помочь бедным студентам?

К счастью, в заднем кармане что-тобрякнуло. Я выгреб мелочь и кинул в шляпу. Скуластенякая не поблагодарила, просто повернула голову, и ее приятная улыбка как бы досталась мне.

Я спросил:

– Она артистка?

Вопрос был глуп, но умного в тот момент не оказалось.

– Студентка, – ответил чертик со шляпой, – ГИТИС. Будущая звезда.

– А кто ее мастер?

Мой школьный приятель, упорный, но бесталанный, уныло домучивал театральное училище, и это давало мне возможность при случае щегольнуть профессиональной терминологией.

Скуластенякая чуть замялась:

– Мастер? Пока секрет.

– А фамилия? – по инерции давил я, хоть и ясно было – без толку.

– Тоже секрет, – уже невозмутимо ответила скуластенякая.

– А как же ее узнать, когда станет знаменитой? На афишах портретов нет.

Моя собеседница соображала быстро:

– У нее очень редкое имя: Анжелика. Так что узнаете... Может, еще кто-нибудь хочет помочь бедным студентам?

Толстая женщина похвалила талантливую девушку и бросила в шляпу два медяка.

Сидевший с ними малый подошел и тронул скуластенякую за плечо:

– Люба...

Она сказала:

– Ага.

И все трое быстро ушли.

Я медленно поплелся к воротам пансионата – через ограду вышло бы короче, но теперь спешить мне было некуда.

Ребята так и сидели за столом, только бутылка опустела.

– С утра сгоняем, – утешил меня Федька и повернулся к Володе: – Пятерку дашь?

– Завтра раздам официально, – возразил Бондарюмко.

Мы пошли спать.

Назавтра я полдня прочесывал пляжи и болтался по набережной. Никого не было – в смысле, не было ее. Но едва стемнело, с набережной опять послышался тот же сильный голос. И как я пропустил?

Перемахнуть ограду было делом секунд.

На сей раз она была в белой юбочке, короткой, как для фигурного катания. Но так же сидела на асфальте, и так же на коленях лежала гитара. И так же встала потом легким пластичным движением. И песни пела те же, и жесты были те же. Выступление.

Теперь я захватил место почти у ее ног. Раза два она вроде взглянула на меня – впрочем, может, просто проверяла реакцию публики...

Я прекрасно понимал, что это дурость, беспредельная дурость. Ну что я о ней знал? Будущая звезда, мастер не известен! Словом не перемолвился. А влюбиться в роль – все равно, что целоваться с портретом, забавы для провинциальной восьмиклассницы...

Понимать-то я понимал. Но вот сидел на асфальте у ее колен и рад был, что на моих джинсах и ее юбочке одна пыль, и когда, читая стихи, она приближалась на полшага, балдел от счастья, потому что то ли чувствовалось, то ли чудилось тепло ее загорелых ног.

Вчерашние стихи она отчитала, перешла к чему-то новому – и тут вдруг произошел паскудный, мало понятный инцидент.

– Я не приеду к тебе на премьеру! – начала Анжелика с обычной своей аффектацией, и вдруг из слушающей

толпы громко прозвучало:

– Ну и не приезжай!

Я растерянно обернулся на голос. Баба лет тридцати пяти в толстых золотых серьгах злорадно повторила:

– Не приезжай, обойдемся! А я пошла.

Это было как непристойный звук за праздничным столом.

От неожиданности никто и слова не вставил, и злобная баба спокойно ушла, победно сверкнув в свете фонаря крупными, редкими, вперед торчащими зубами.

Анжелика сбилась с ритма и все же продолжала читать, будто ничего не случилось, только фразы теперь звучали мертво да жесты стали деревянными.

Стихотворение было длинное. Анжелика дочитала до конца и почти бегом бросилась к скуластенькой подруге. Они быстро пробились сквозь толпу. Громоздкий большеротый парень шел впереди тараном, гитара на плече.

Я кинулся следом и, уцепившись взглядом за светлую голову парня, пристроился шагах в десяти сзади.

Парень был в мешковатых, каких-то будничных брюках, в нескладной рубашке с длинными рукавами, и выглядел, как глава семейства на отдыхе – дачный муж, глубоко свой человек, которому стараться не перед кем и незачем. Вот только кому – свой? Я надеялся, что Любе. С ней он монтировался органичнее, но кто скажет наверняка?

За спасательной станцией начинался дикий пляж, пустой, неухоженный и без фонарей. Они свернули туда, сразу сбавив шаг. Я услышал, как скуластенькая Люба произнесла своим мягким приятным голосом:

– Просто сука.

Анжелика отвечала невнятно, захлебываясь словами

– Не стоит разговора, – оборвал большеротый парень, и дальше они шли молча.

Я все плелся сзади. Зачем? Ведь прекрасно знал, что подойти нельзя. Кому приятен свидетель позора? Но тащился тупо, как бычок за телегой. Под ногами скрипела галька, и

я боялся – вдруг обернутся, но никто не оборачивался, наверное, потому, что и у них под ногами скрипела галька.

Потом они остановились.

Чтобы не выглядеть вовсе уж глупо, я сел на камни и усталился на море в лунных отсветах: наблюдать природу – какое-никакое, а занятие. От луны и звезд было довольно светло, но я надеялся, что не слишком уж лезу в глаза, что огни поселка за спиной растворяют и скрадывают мой силуэт.

Парень тоже сел на гальку, осторожно положил гитару и стал швырять камешки в воду. Всплески слышались один за одним, легкий шум наката не перекрывал их.

– Пошли? – сказала вдруг скуластенякая. – Пашка, давай, а?

– Кайфа нет, – возразил парень.

Я сидел неподвижно, тупо думая, что вот они уйдут, а я останусь. Останусь, чтобы стало ясно: и пришел-то вовсе не из-за них.

Но уходить никто не собирался.

– Жель! – позвала Люба. – Пошли? Пашка, достань полотенце.

Анжелика не ответила, но встала. Они не спеша разделись, бросив все свои тряпки на гальку, и пошли к воде. А парень все кидал камешки в воду, размеренно и равнодушно.

Ничего необычного в этом не было: традиционное курортное развлечение, невинный вызов условностям, бегство от цивилизации на дикий пляж. И волновало меня не голое ночное купание. А другое: кому этот медлительный малый, свой человек, подаст потом полотенце.

А еще я подумал почти машинально, что все это здорово смотрелось бы на холсте: светлая тьма, лунные пятна на воде и у самой кромки два тела, похожих на лунные пятна...

Молча поплавав, девушки вышли, и парень набросил полотенце на плечи Любе, а Анжелика полезла в сумку за своим.

Люба заметила меня и сказала негромко:

– И тут зрители.

– Лишь бы не ослеп, – безразлично отозвалась будущая звезда.

Они оделись и ушли. Теперь парень с гитарой на плече замыкал строй, будто опасался, что я наброшусь сзади.

А я так и сидел на камнях, надеясь, что толком меня не разглядели. Сидел и бессмысленно твердил про себя: “Вот так – луна, блики и две фигуры. Блики по диагонали и две фигуры...”

Любопытно, что лет через пять я это все-таки написал – внезапно, по памяти, дня за два. Кажется, получилось...

Утром я пошел на рынок с холщовой общественной торбой и вдруг увидел их, всех троих, у автостанции. Анжелика была в своей белой юбочке, у ног ее стояла небольшая туго набитая сумка, тоже белая, с алой пантерой на боку. Громоздкий парень держал два рюкзака, из одного торчал гриф гитары. Скуластенькая Люба, одетая чертиком, даже в той же вислой шляпе, с удовольствием покусывала крупную грушу. Автобус уже фырчал рядом.

С дурацкой своей торбой – хорошо хоть бутылку не взял! – я вскочил в автобус.

До вокзала было минут тридцать, время немалое, и я успел свой поступок обдумать и оправдать.

Ну что я знаю о ней, думал я. Студентка, да? А чья? Секрет! А может, и не студентка вовсе, поступала, да не прошла. И фамилия – секрет. Вот уехала бы сейчас – и с концами. Жди потом, пока появится на афишах редкое имя Анжелика!

Нет, что и говорить, поступок мой был разумен, даже расчетлив, и, главное, в момент сообразил – вот ведь молодец! Но твердя себе все это, я сидел, вжимаясь в пыльную спинку сиденья, и руки терзали торбу, и чувствовалось, как густеет на щеках свекольный жар стыда. Ну куда еду, дурак?!

Они сидели впереди, парочка рядом, Анжелика через проход, рука на спинке сиденья. Она была в той же черной майке без спины, густые русые волосы схвачены тем же обручем

– видно, гардероб будущей звезды был до времени ограничен. Я для нее не существовал, и слава Богу: сейчас мне вполне хватало волны волос на загорелом плече и сумки у ног, в проходе. Но скуластенькая оказалась понаблюдательней: чуть повернув голову назад, бегло улыбнулась и, тактично выждав паузу, что-то шепнула подруге через проход. Анжелика едва заметно скосила глаза – и все. Однако рука на спинке сиденья легла безвольней и элегантней. Артистка!

Поезд уже стоял. Они прошли в вагон. Я остался на перроне, в отдалении. Потом все трое вышли, уже без вещей, и отойдя немного, выкурили по сигарете. Скуластенькая мазнула по мне хватким взглядом – и вновь беглая улыбка. Насмешка? Поощрение?

– ...Остается пять минут, – нечетко прозвучало в вокзальном шуме и, через паузу, еще раз. Люба взяла парня за руку и потянула к вагону. Анжелика осталась на перроне. Мне создавали условия.

Я почти физически ощущал, как рушатся секунды. А, черт с ним!

Я подошел, на ходу придумывая фразу, но не успел, только начало кое-как слепилось:

– Простите... Вот вы тогда на набережной...

Не знаю, чем бы все это кончилось, но актриса мне помогла – спросила с надеждой и тревогой:

– Вам понравилось?

Надежда была сыграна, тревога сыграна, но как же я был ей благодарен за эту гуманную игру!

– Не то слово! – пролепетал я и развел руками. – Даже не знаю, как сказать...

И снова мне помогли:

– Самое приятное, когда не знают, как сказать.

– Я прямо рядом сидел, как говорится, у ног...

– Я вас помню.

– Вот, как говорится... с тех самых пор... Словом, у ваших ног.

Фраза вышла – пошлей не придумаешь. Хорошо хоть улыбнуться сумел, дурак косноязычный.

Анжелика тут же отыграла мою улыбку своей.

Я все видел и все понимал – молодая актриса играла общение с представителем восторженной публики, – но плевать я хотел на эти детали! Она была рядом, я с ней говорил, да что там – мог, в принципе, и за руку взять...

Все мои тормоза летели к черту, я бормотал, уже не контролируя, что несу и как выгляжу:

– Вообще люблю песню, кого только не слушал... Но вот так никогда не действовало... Вы знаете, может, и не увидимся больше... Глупо, сам понимаю... чистый символ, просто знак благодарности...

Не решившись сделать шаг, я стал целомудренно тянуться губами к ее щеке. И вдруг девушка чуть повернула лицо – мой скромнейший поцелуй пришелся в угол рта. Тогда, наконец-то бросив проклятую торбу, я схватил ее за плечи...

– Молодые люди! – крикнули над ухом. А, проводница! Я оглянулся – поезд уже шел. Анжелика, всплеснув руками, вскочила в тамбур. Я без колебаний прыгнул за ней.

– А как же?... – испугалась она.

– До первой станции!

Анжелика вдруг высунулась из тамбура, крикнула что-то, замахала рукой – другой держалась за поручень, – и рослый морячок, в три прыжка догнав наш вагон, весело швырнул в тамбур мою торбу, большую и грязную. Я стоял ошалело. Будущая звезда наклонилась, подняла с затоптанного пола нашу рыночную тару и вежливо подала мне.

Проводница закрыла наружную дверь – сейчас спросит про билет. Я схватил Анжелику за руку и потащил через весь вагон в дальний тамбур – я не понял, как и почему с ней вдруг стало легко.

Вагон был плацкартный, люди жили своей жизнью, устраивались, молодая мамаша прилаживала на полу между полками пластмассовый горшок. Скуластенькая со своим

парнем сидели у окна, фетровая шляпа лежала между ними на столике. Они проводили нас взглядом и, кажется, не очень удивились.

В тамбуре я стал объяснять:

-Понимаешь, нельзя так. Не могу. Не могу я без тебя. Изуверство! Ведь даже адреса не знаю!

Последний аргумент я почти выкрикнул. И ее глаза послушно округлились, будто и ее привело в ужас, что мы больше не увидимся. Тогда я прижал ее к себе и стал целовать в щеки, в висок, в макушку, бормоча в перерывах:

- Изуверство какое-то, прямо шаманство. Где ты научилась-то? Бьешь прямо наповал! Сдержанности не хватает, но черт с ней, тебе и не надо...

- А вчера одна женщина... - начала Анжелика, и голос дрогнул.

- Да пусть застрелится! - заорал я.

В тамбур вышел какой-то мужик и прочно пристроился курить. Я отвернулся к дверному стеклу. Анжелика попросила у мужика сигарету.

Когда мужик докурил и ушел, я отобрал у нее сигарету, придавил и швырнул в угольный ящик.

- Нельзя, - сказал я, - голос огрубеет. Ты же артистка.

- Уже начал опекать?

- Ага. Холить и лелеять.

Она сказала с улыбкой, но довольно твердо:

- Не надо относиться ко мне лучше, чем я сама к себе отношусь.

Я со вздохом пообещал:

- Ладно. Только ты сама к себе относись хорошо.

Потом она спросила:

- Тебе правда понравилось, как я пою?

Я кивнул.

Она вдруг догадалась:

- Вчера ночью на пляже не ты за нами шел?

- Я!

Теперь я произнес это с гордостью.

– Не стыдно? Девушки купаются, а ты смотришь.

– Не-а! – сказал я искренне. – С вами же был парень. Ему можно?

– Он Любин мальчик.

– Тогда, значит, я твой...

Тут же, в тамбуре, я взял у нее координаты. Ручка нашлась, бумаги не было, я записал на ладони. Адрес, телефон – все было чужое и временное. Она действительно училась в театральном и перешла на третий курс, но с двумя хвостами, почему и старалась не афишировать свою принадлежность к славной кузнице сценических кадров. Жила будущая звезда то в общежитии, то у подруг – из трех данных мне телефонов главным и самым надежным был Любин.

Я проехал с ней до Джанкоя, уже в сумерках вышел на низкий перрон. Анжелика стояла на ступеньке.

Напоследок я решился:

– Анжелика! Только не ври, ладно? Я – понятно, я слышал, как ты поешь, любой бы одурел. А я-то тебе на фиг?

Она, подумав, ответила:

– Я вдохновилась от партнера...

Через три дня, плюнув на все, я вернулся в Москву. Через два месяца она стала моей женой.

Федька, позванный в свидетели, рассудил вполне здраво:

– Старик, это же авантюра. На хрена тебе надо?

Я только улыбнулся дурацкой улыбкой.

Впрочем, некая прагматическая идея у нашего скоропалительного бракосочетания все же была: Анжелика мечтала о кино. Плела по этому поводу разные интриги, а кто-то ей сказал, что замужних студенток легче отпускают на съемки и вообще больше считаются. Потом, правда, оказалось, что это не так, но это оказалось потом...

Однако и без всяких практических резонов я бы все равно женился на ней. Всеми своими костями и мышцами я

понимал: с Анжеликой у меня должно быть все, в том числе и это.

Как сперва потянуло ее слышать, потом видеть, потом прикоснуться, так стремительно стало необходимостью ее ночное дыхание на плече. Но и этого было мало, нищенски мало: сжимая ее загадочное тело, и крепкое, и безвольное сразу, я так озверело тосковал по ней, будто она была не рядом, а за семью морями и тремя границами. Как морская вода, она не утоляла, а лишь обостряла жажду.

Чего же мне хотелось?

Наверное, вот чего: взять две жизни, мою и ее, и вмять их друг в друга, как два куска теста, перемешать, перемесить, чтобы и комка обособленного не осталось, чтобы все ее стало моим.

Странно, но она этому не противилась; наоборот, легко подчинялась и даже шла навстречу, так что довольно быстро мою жизнь заполнили ее актерские планы, женские тайны, привычки, слабости, подруги, соперницы, покровители, обидчики, успехи и провалы. Я узнал до тряпочки ее туалеты, что, впрочем, было не так уж сложно, ибо почти все они умещались в той самой белой сумке с алой пантерой на боку. В минуту спешки я даже гладил самый роскошный из ее концертных костюмов – желтые штаны с завязками у щиколоток...

Актриса, десять часов в день учившаяся притворству, Анжелика тем не менее не была лживой и, если я о чем-то спрашивал, отвечала правду, даже когда не хотелось. Впрочем, не хотелось ей редко: по женскому обыкновению, она практически всегда казалась себе правой, и все ее поступки были справедливы и хороши, и просто не было гричин что-либо скрывать. О трех своих прошлых мужиках она рассказывала спокойно, анализируя и советуясь, как о прошлых ролях, неудачных, но все же сыгранных, из которых надо извлечь урок.

Почти сразу же по возвращении в Москву Анжелика пе-

реселилась ко мне. Хотя “переселилась” – слишком торжественно и неточно: просто я снимал комнату, она же кочевала и как-то в субботу осталась у меня, в воскресенье тоже осталась, в понедельник пришла снова, а к четвергу это стало традицией и нормой.

Анжелика – вот уж не ожидал! – вкусно готовила, легко мыла полы и была экономна. Вообще наше с ней хозяйство с первого дня процветало, ибо мне заплатили за два плаката, потом пришел перевод от добросовестного Бондарюмко, да и будущая звезда хоть не много, но регулярно подрабатывала.

Дело в том, что в окраинных клубах, иногда в общежитиях Анжелика давала концерты на не ясных мне, да и ей самой, основаниях: пела под гитару, читала стихи, после чего ей из лапки в лапку совали конверт, в котором было рублей десять, порой и пятнадцать. Случалось, не совали ничего, просто пожимали руку. Эта лотерея разнообразила сценическую жизнь и приятно волновала.

Я, конечно же, ездил на все эти концерты, садился где-нибудь с краю и зорко ловил реакцию зрителей, то есть делал примерно то, что скуластенякая Люба тогда на набережной, только пристрастней и суетливей, и с шапкой не ходил. Анжелика пела, читала, энергично жестикулировала, а сама время от времени косила глазом на меня, и я условным знаком командовал, петь ли еще или уйти, чтобы выйти на “бис”, или исчезнуть вовсе – пусть зал досадует, что рано кончилось, а не что слишком затянулось. И до чего же сладко было, когда она подчинялась легкому движению кисти, как кукла-марионетка ниточке кукловода. Не из гордыни – какая уж тут гордыня! – просто казалось, что самое сокровенное в Анжелике – ее профессия – неверное, коварное ремесло лицедея, тоже отходит в мою собственность.

А после, ночью, мы часами мусолили детали концерта и нюансы приема, выискивали свои – ее! – промахи и жестко анализировали поведение зала: тут всегда было о чем подумать, эта крепость без боя не сдавалась.

Мечтам о будущем, как правило, не предавались: в деле своем Анжелика, надо отдать ей должное, была трезва и знала, что между пьянящим успехом начинающего и устойчивой славой зрелого мастера лежит такая полоса пустынь и болот, что дай Бог добраться...

Дней за пять до загса как раз и выпал такой концерт. Мы опаздывали, Анжелика металась по комнате, натываясь на мои подрамники и картоны, я ходил за ней, как костюмерша, с невесомыми деталями туалета, а скуластенькая Люба невозмутимо курила, сидя с ногами на низкой кушетке. Она училась на одном курсе с будущей звездой, но не на актерском, а на администраторском, в дальней перспективе – директор театра; должность не бабская, говорила она, но ведь и я не баба.

Вообще в Любе что-то было, даже много чего. Ее ореховые глаза смотрели на мир с прищуром, безошибочно взвешивая и оценивая, что почем. Людей она понимала сразу, хотя, может, и не слишком глубоко, но в будущей деятельности ей глубже и не требовалось. А в приятной улыбочке ощущалась уверенность и даже некая опасная сила – ни разу не видел ее ни растерянной, ни обозленной, ни хотя бы раздосадованной. У меня даже шевелилась идея написать ее в тех летних шортиках и маечке, но с ружьем в маленьких руках: юная охотница с нежной кожей и бесстрастными, бесстрашными глазами. Дурак был, что не написал, все надо делать вовремя...

Анжелика вдруг остановилась и шлепнула себя по лбу. Люба поинтересовалась со спокойной иронией:

- Что еще?
- А телеграмма?
- Какая?
- Ну, маме же надо послать! О свадьбе.
- Не надо, – возразила Люба и не спеша затянулась.
- А обидится?
- Не обидится.

- Все равно же придется сказать.
- Когда придется, тогда и скажешь.

Я вмешался:

- Думаешь, разойдемся? Не надейся.

Люба красиво выпустила дым:

- Поживем – увидим.

Она многое делала красиво – сидела, двигалась. И это была не выучка, а естественная пластика ладного, в каждой своей мышце уверенного зверька.

Анжелика вдруг заметалась взглядом:

- Носки!

Я взял их с подоконника и подал.

- Неплохо устроилась, – похвалила Люба подругу.

Я отбрехнулся:

- Сбруя – дело хозяина, а не лошади.

- Ну, ну, – усмехнулась скуластенькая.

– Опоздаем, – бормотала Анжелика, – вот увидите, опоздаем.

– Еще ждать будем десять минут, – невозмутимо отозвалась Люба.

Анжелика вдруг схватила свою белую юбочку и, путаясь в завязка, стала снимать желтые штаны.

- Ты зачем? – не понял я.

- Там же вечер учителей!

- Ну и что?

- Так лучше. А штаны на второе отделение.

Я развел руками. Люба пригасила окурков и сказала с обычной своей улыбочкой:

- Дурак, что женишься.

- Почему?

- Таковую любовницу теряешь!

Анжелика, застегивая юбочку, серьезно возразила подруге:

– Ты не права. Первый брак обязательно должен быть по любви.

Как и предвидела скуластенькая, на вечер мы приехали вовремя, еще ждали десять минут...

Телеграмму матери Анжелика так и не дала. Я, поколебавшись, тоже не стал тревожить своих: видно, не одному Федьке светила в глаза авантюренность нашего “первого брака”. И все же, когда в такси, по дороге в свадебную контору, Анжелика вдруг спросила: “А как ты думаешь, у нас это надолго?”, я ответил, честно прикинув варианты:

– Не хочу загадывать, но, скорей всего, на всю жизнь.

– И мне кажется! – счастливо вздохнула она у моей щеки.

Я и в самом деле так думал: слишком многое за два месяца успело нас связать, слишком плотно и прочно две наши жизни сплелись мелочами, кожей росли в кожу. Было трудно представить долгую жизнь с ней, но и вовсе непредставима была долгая жизнь без нее. Авантюра? Конечно, авантюра. Но ведь и манная каша раствора глядится авантюрой, пока не схватится в бетон...

В загсе было зябко, смешно и немного стыдно. Мы написались в большой книге, похожей на амбарную, Федька внес за что-то пять с полтиной, полная женщина поздравила нас с самым счастливым днем в жизни, махнулись одолженными кольцами... Кто-то разбитной совал шампанское; Люба, ласково глядя ему в глаза, отвечала, что молодые не хотели бы омрачить алкоголем первый день совместного счастья – денег у нас даже на водку было в обрез. Свадебный фотограф сделал три торопливых щелчка. Вдруг узнал Анжелику (был на каком-то концерте), сказал комплимент, смутился и пригласил заходить еще...

А я поглядывал вокруг и рассеянно думал: мне бы этот зальчик под ритуальную роспись! Их стены, моя идея, четыре цвета, четыре возраста, четыре грани любовной тайны. Год готовиться, год писать... Да ведь не дадут. Своя контора, значит, и идеи свои, кто начальник, тот и художник...

Свадебный стол был накрыт в общежитии, в комнате у девчонок, на двадцать кувертов, как выразилась эрудиро-

ванная Люба, или, как уточнил Федька, на двадцать рыл. А под медовую неделю один хороший человек уступил пятиметровой высоты мастерскую, в качестве подарка выставив три чистых холста – вдруг вспомню, что все-таки художник! Подарок был царский, но озадачивающий.

Эта мастерская серебряным гвоздиком вколотилась в башку, и когда после загса сели в такси, я вдруг кинул водителю неожиданный адрес.

– А что там? – удивилась молодая жена.

– Мастерская.

Люба, сидевшая впереди, на рискованном месте телохранителя, посмотрела на меня с любопытством.

– Пока шель да шевель, – сказал я, – заедем на полчаса. Хозяйка на свадьбе все равно ты. Вот и давай там команды, с нас сейчас какой толк?

У Любы в глазах дрогнула искорка азарта, она ответила безмятежно:

– А хоть и вообще не приходите.

Высадила нас и уехала.

Начинающая супруга, неслышно ступая, походила по мастерской – обживалась. Руками не трогала ничего, как в музее. Похоже, ее подивило количество холстов: хозяин, хороший человек, и работник был хороший.

– Это все он?

Я недобро пообещал:

– У меня так же будет. Наше ремесло не барское.

Она молча разглядывала развешенные холсты.

Одна модель повторялась многократно.

– Жена? – спросила Анжелика.

– Примерно.

Она чуть помедлила.

– Теперь небось позировать заставишь?

– А ты думала!

– И голой, да?

– Естественно.

– А потом выставишь на всеобщее обозрение?

– Само собой.

– А если я не хочу?

Я сказал:

– Плевал я на твое хотение!..

Мы задержались не на полчаса. А когда пришли в себя, выяснилось, что опаздываем на столько, что приличней не приезжать совсем. Я вертикально закрепил на мольберте узкий картон: почему-то казалось, что качавшая меня волна уложится именно в этом нелогичном пространстве. Работал быстро, надеясь на накат. Анжелика стояла у стены, как поставил, почти не шевелясь.

Через час я отошел к окну и засвистел. Мысли расплылись, кисть болталась в руке, как сосиска.

Анжелика поглядела и кинулась мне на шею:

– Ты гений! Вылитая я!

– Ага, – кивнул я, высвобождаясь.

На картоне было полное непотребство, кисель эмоций, сентиментальная истерика в красках.

– А ну, быстро, – сказал я, – люди ждут. Какое-никакое, а событие...

Скуластенькая девушка слов на ветер не бросала: на нашей свадьбе прекрасно обошлись без нас. Из кучи гостей – “рыл” набралось куда больше двадцати – выбрали вполне пристойную пару и назначили женихом и невестой. За них пили, им желали счастья, орали “горько” и спорили, сумеют ли дублирующие “молодые” достойно довести роли до финала. Так что мы с Анжеликой даже несколько испортили спектакль.

Впрочем, к нашему приходу ритуал уже порядком размыло спиртным: шампанское наш праздник не омрачило, но водки хватало. Общие забавы были уже позади, поток разбился на рукава, событие выродилось в обычную вечеринку. Подставные жених и невеста с некоторым недоумением поглядывали друг на друга: интрига иссякла, а вне

сюжета никаких связей явно не возникало. Громоздкий Паша мучил гитару, клоня ухо к повизгивающим струнам – и зачем ему это? Маленький очкарик в розовых прыщах, сухо поздравив Анжелику с событием (с каким, не уточнил), свысока, почти презрительно втолковывал ей разницу между маской и полнокровным образом – для Анжелики, он полагал, на теперешнем ее уровне сойдет и маска. Тощая дурнушка с манерами красавицы повисла у меня на шее и, в перерывах между мокрыми поцелуями допытывалась:

– Вы счастливы? Ну признайтесь, счастливы?

От нее несло спиртным – хоть закусывай. Я признался, что счастлив, кое-как вывернулся и подсел к Любе.

Она разговаривала с крупной рыхлой девицей, прокуренной, умной и злой. Пьяна Люба не была, трезва тоже, ее ореховые глаза поблескивали решительно и жестко.

– А мне плевать на жизнь, – говорила она, – я знаю себя. Вот увидишь. В двадцать четыре буду замом, в двадцать шесть директором, к двадцати девяти сделаю театр.

– Основания? – холодно зато поинтересовалась собеседница, прикуривая одну сигарету от другой. Чувствовалось, что недобрый ее мозг работает быстро и точно.

– Увидишь!

– В директорах, может, и увижу. Но театр...

– Три года, – сказала Люба, – ровно три года. Сперва пресса – это я сделаю. Второй год какая-нибудь премия, любая, тоже сделаю...

– Допустим.

– А третий год – скандал. Настоящий творческий скандал.

– Скандал тоже сделаешь? – скептически поинтересовалась толстуха.

Люба посмотрела на нее ласково и бесстыдно:

– Скандал мне сделаешь ты.

Та несколько растерялась:

– Даже так?

– А что? Тебе имя, мне театр.

Толстуха сделала затяжку:

– Для скандала нужна трибуна.

Люба только усмехнулась:

– Неужели к двадцати восьми годам у тебя – у тебя! – не будет трибуны?

Грядущая скандалистка прикинула варианты и усмехнулась в ответ:

– Ладно, скандал за мной.

Подошел Федька, почти трезвый. Мы чокнулись без тоста. Он похлопал меня по плечу и почему-то утешил:

– Ничего!

Потом довольно неприязненно заговорил о деле: есть шанс подзаработать, Бондарюмко забил халтуру где-то под Калугой и теперь сколачивает артель. Платить обещает больше, чем в Крыму, но с эскизами построже, никаких Шагалов, сугубый реализм. Излагая детали, Федька почти полностью перешел на мат: халтурил он тяжело, с отвращением, и потому всегда сидел без денег, что и вынуждало его к новой халтуре.

Я слушал невнимательно, со всем соглашался и в разгар Федькиной речи вдруг полез к нему обниматься. Он вырвался, сплюнул и сказал, что в теперешнем моем состоянии (он определили его кратко и точно) реализма от меня не дождешься, мне сейчас только барокко лепить.

Тут кто-то вспомнил, что все же свадьба, нас с Анжеликой потащили на почетные места. Чуть поколебавшись – хоть и в шутку, но торжество уже отработали, – заорали “горько!”. Потом произнесли два нудных тоста. Я пожалел, что ушли из мастерской...

Нашу послесвадебную жизнь я запомнил смутно. Логика не было, последовательность рвалась, события путались и сливались, словно их выхватывал из темноты фонарь в пьяной руке: Анжеликины песни на концертах, какие-то жуткие неприятности в институте, которых, как вскоре оказалось, в общем-то не было; она то ревела, билась у меня в

руках, порвав единственную выходную рубашку, то хохотала и обнимала Любу, принесшую хорошую вест, и требовала, чтобы я ее тоже обнимал; поиски какой-то особенной гитары, поход к знаменитому мастеру, который оказался не знаменитым и не мастером, а просто барыгой, причем гитарами не торговал. На обратном пути упал ливень, и мы, наверное, час целовались в старинном, с чугунными ступеньками, подъезде. Я одалживал деньги где попало и для убедительности записывал собственные долги синим фломастером на ладони; Бондарюмкина халтура валилась, Федька ругался, потом перестал; “медовая” неделя в мастерской, пространство, высокий потолок, в темноте как бы вообще не существующий – иногда среди ночи Анжелика вдруг включала низкий свет и, дурачась, начинала “представлять”, потом увлекалась, и шла яростная пантомима с заламыванием рук, с губами, как бы замершими в крике, со страшноватым, почти трагическим стриптизом – борьба, бессилие, падение на колени, на пол... я спросил, что это – любовная игра или гибель; она устало ответила, что не знает сама, все равно что – хоть землетрясение на Таити...

Приходила Люба – одна, хотя громоздкий Паша существовал по-прежнему, ставила чай; усмехнувшись, стелила газеты на заляпанных краской табуретках.

– Не разбежались еще? – спрашивала.

– Мы будем любить друг друга всегда! – почти клятвенно произносила Анжелика.

– Ну, ну, – говорила скуластенякая и смотрела на нас, как биолог на кроликов.

Я старался работать и писал много: в общем-то, не меньше, чем всегда. Анжелика опасалась не зря, позировать ее я действительно заставлял. Сходство давалось легко, суть уходила. Я утешал себя: плевать, просто сейчас не время анализа, я пишу не ее, а свое отношение к ней. И писал – цветные пятна, блики на коже, почему-то вдруг хотелось поместить ее в световую спираль...

Она смотрела, восхищалась: “Я! Вот до кончика носа – я!”

Я хмуро отвечал цитатой:

– Если похоже нарисовать мопса, получится еще один мопс.

Анжелика довольно улыбалась, она принимала это за скрытый комплимент.

Я писал ее в желтых штанах, писал босую, растрепанную, завернутую в махровое полотенце. Писал обнаженную – эти картинки вполне можно было выставлять в актовом зале ГИТИСа: Анжелики там все равно не было, была юная актриса в роли натурщицы. Я клял ее за лицедейство, требовал естественности – она не понимала, смеялась, все кончалось постелью...

Странно: она была студентка, всего лишь студентка третьего курса, но я всегда воспринимал ее как артистку. Когда она готовилась к зачетам или беспомощно кудахтала перед семинаром по политэкономии, я воспринимал это почти как блажь: актриса играет роль испуганной студентки.

Я пробовал все – и натюрморты, и городской пейзаж, но вещи уходили так же, как уходила она. Разучился, что ли? Или – новый, еще самим не понятый, период? Взрыв подспудного, мир без теней, откровенность насыщенного цвета – может, сегодня я и должен писать именно так?

Пришел Федька. Я расставил картинки. Анжелика суетилась с едой.

– Н-да, – протянул Федька неопределенно.

– Как ты велел, – сказал я, подлизываясь, – барокко.

Федька хрипловато вздохнул.

– Нет, старичок, – возразил он, – это не барокко. Это – на нервной почве.

Анжелика позвала есть.

– Жаль, – сказал я, – месяца три вылетело.

Я разом ощутил какую-то тупую пустоту. В общем-то, и раньше догадывался, но надежда была. Теперь же, рядом с Федькой, я все видел сам.

Уже за столом Федька вдруг рыкнул с неожиданной агрессивностью:

– Ну, чего? Чего скис? Плохо живешь, что ли?

– Да нет.

– А тогда чего?

Я кисло усмехнулся:

– Я все-таки еще и художник временами.

– Ишь ты! – сказал Федька неодобрительно. – Художник он! Много хочешь – и рыбку съесть, и птичкой закусить. Счастлив ты? Счастлив или нет?

Это популярное слово я слышал от него впервые.

– Ну, допустим.

– Допустим! – передразнил он. И посмотрел почти зло.

– Тогда какого рожна тебе надо?!

Анжелика засмеялась; глядя на нее, и мне стало смешно. Мы поели, выпили бутылку “сухаря” на троих, потрепались о живописи, и Федька ушел.

Картинки так и стояли у стены. Пока я их складывал, на-строение снова упало.

– Ну что, моя радость? – сказала Анжелика. – На хрена мне это счастье?

Я покраснел, она словно услышала мою мысль.

– Что делать, – сказала она, – и у меня ведь такое. В отрывке почти завалилась. А Любка знаешь, что сказала? Ты послушай, она ведь умная. Я дура, но она-то умная. Так вот она сказала: “В профессиональном смысле любовь себя всегда окупает”. Здорово?

– Ничего, – пробурчал я. В тот момент меня мало волновали Любкины афоризмы.

– Она права, – сказала Анжелика убежденно, – полностью права. Вот мне, например, еще лет тридцать играть любовь. А как я сыграю, если сама не любила? Тут халтурить нельзя – все равно вылезет наружу, в чем-нибудь да вылезет.

Анжелика подошла сзади, обняла меня, ткнулась губами в затылок:

– Не переживай. Ну, потерял три месяца. Сделаешь потом. Ведь ты талантливый. Все равно сделаешь. А это... Это тоже что-нибудь да стоит – не каждый год у тебя будет Анжелика.

Я повернулся и посмотрел на нее. Она тут же поправилась:

– Новая Анжелика.

Я молча продолжал на нее смотреть. Она виновато улыбнулась:

– Я не то сказала? Может быть. Никогда не обращай внимания, я ведь дура.

Она вдруг хлопнула в ладоши:

– Ой, рассказать тебе? К нам приходил один кинорежиссер, была такая полуофициальная встреча... Знаешь, что он говорил? Я бы, говорит, думающих актрис выгонял еще из института за профнепригодность. Актрисе, говорит, не нужен ум, актрисе нужен умный режиссер. Здорово, а?

Я взял ее за локти:

– Уйти намыливаешься?

Она широко раскрыла глаза:

– Да ты что?!

– И думать не смей, – сказал я почти серьезно, – живой не уйдешь.

– Я не могу даже представить, как буду без тебя, – жалобно проговорила Анжелика.

Шероховатость сгладили традиционным путем...

Я уже сказал, что Анжелика мечтала о кино. Впрочем, “мечтала” – слово не для нее. Не копила в тишине сладкие грезы, не утешалась иллюзиями, а еще с прошлого года, со второго курса, развила бурную деятельность: знакомилась с разными полувлиятельными людьми вроде администраторов киногорупп или дипломников ВГИКа, проникала на студии, завела блат в Доме кино и регулярно ходила на обсуждения новых фильмов – конечно, не обсуждать, а знакомить-

ся. В столь частую сеть не могла не попасть хоть какая-нибудь рыбешка, и вскоре после нашей свадьбы Анжелику взяли на эпизод. Эпизод был маленький и в общем-то типажный: певичка в кафе, где выясняют отношения герой и героиня, бытовой фон для лирической сцены. Коротенький крупный план, две песенных фразы (песня плохая) и ни слова кроме. Но она ухватилась за эту певичку, как за Офелию.

Я спросил:

– Думаешь, это тебе что-нибудь даст?

Она ответила рассудительно:

– Может, и не даст. Но другого же мне не предложили.

– А если провалишься?

Подумав, она твердо сказала:

– Нет, проваливаться нельзя.

Надо отдать ей должное: работать актриса умела. Уже на следующий день после этого разговора в нашей комнатке появилась Веруша, прокуренная толстуха в вязаной кофте, похожей на купальный халат, – она была на нашей свадьбе. И не просто появилась, а стала главным человеком в доме. Анжелика тут же усадила ее на нашу супружескую кушетку, придвинула под спину подушку, торопливо подала теплые, с собственной ноги, тапочки и протянула зажженную спичку: сигарету Веруша, едва переступив порог, извлекла машинным жестом усталого фокусника. Я побежал к соседям: нужна была кофемолка (Анжелика заранее предупредила, что растворимый, а тем более в пачках, Веруша презирует).

Светский разговор гости с хозяевами (погода, здоровье, новости) был длиной в одну сигарету. Затем сразу, без раскочки, пошла работа. Пролистав сценарий, Веруша вынесла приговор: текст – барахло (она употребила другое слово), режиссер – дурак (она употребила другое слово), фильм провалится (она употребила другое слово).

Анжелика истово закивала.

– Так, – сказала Веруша задумчиво, – нужен ход. Фильм

гробанется, и хрен с ним. Но ты гробануться не должна. Знаешь, почему он взял тебя?

Моя жена замотала головой.

– За вульгарность. Эта сцена в кафе – сплошная парфюмерия. Столько духов, что нужно хоть немного дерьма. Могучая задача, можешь гордиться.

Анжелика с готовностью засмеялась.

– Между прочим, задача действительно интересная, – строго оборвала Веруша, – только необходим финт. У него своя цель, у нас своя. Ему нужен фон – нам роль. Ему типаж – нам образ. Сейчас придумаем.

Анжелика смотрела на нее, как мусульманин на пророка.

После свадьбы я видел Верушу раза два и не мог толком понять, кем она собирается стать. С одной стороны, числилась на театроведческом, печатала рецензии на спектакли и что-то успешно делала на радио, с другой – ходила на занятия к знаменитому режиссеру (в частных беседах он именовался то “классик”, то “наш маразматик”, то почему-то “Вася”, хотя звали его Евгений Николаевич). В принципе современный театр она считала развалиной, которую необходимо взорвать, чтобы расчистить почву, но, видимо, еще не решила, с какого фланга вести под эту развалину подкоп.

Анжелика говорила, что Веруша про театр знает все, а про кино еще больше. И даже трезвая Люба как-то в разговоре бросила:

– Верка-то? Верка – светоч!

Лет ей, между прочим, было двадцать...

Веруша придавила очередной окурок и сказала:

– Так. Ясно. Текста тебе не добавят, и думать нечего. Значит, остается пластика. Образ через жест.

– Гениально! – всплеснула руками Анжелика.

За вечер Веруша придумала три варианта биографии Анжеликиной певички, довольно любопытно предложила характер и стала пробовать на будущей звезде походку и жест. Почти после каждой Верушиной реплики рефреном

звучало Анжеликино: “Гениально!”

Я выманил жену на кухню и сказал:

– Не увлекайся, она девка умная.

Анжелика посмотрела на меня, как взрослый на ребенка, и снисходительно проговорила:

– Можешь поверить на слово – от лесты еще никто не умирал...

Веруша завелась и ходила к нам почти каждый вечер: сидела на кушетке в своей кофте-халате, курила, пила убойной крепости кофе, болталась по комнате в Анжеликиных тапочках. О фильме могли не говорить – просто подруга пришла в гости, но посреди праздного разговора Веруша вдруг кидала новую идею, которую Анжелика тут же цепко хватала и пробовала. Так продолжалось до самой съемки.

Эпизод, кажется, получился: на студии прокрутили отснятый материал, меня смотреть не взяли, но Люба ходила и сказала, что вполне и даже весьма. Однако главное было не в этом: крохотная ролишка в плохом фильме неожиданно многое решила в судьбе будущей звезды.

Дней через десять Анжелика пришла домой бледная, пока расстегивала плащ, пальцы дрожали, и, постучав по всем нашим табуреткам, тускло сказала, что, кажется, выиграла сто тысяч по трамвайному билету. Я помог ей раздеться, она взобралась на кушетку и стала рассказывать.

Собственно, вся информация состояла из нескольких фраз.

На том рабочем просмотре случайно оказался другой режиссер, известный, только что запустившийся в производство с фильмом на современную тему. Он увидел эпизод и тут же пригласил Анжелику на настоящую большую роль. Через три дня сделали пробы – она не рассказывала мне об этом, чтобы не волновать. Сегодня пробы утвердили. Вот и все.

Наверное, надо было заорать от восторга. Но я не обрадовался, я растерялся. Я смотрел на Анжелику и тупо молчал.

Все это было слишком уж неожиданно. Конечно, я верил в ее талант, верил, что пробьется, и мечтал, чтобы это произошло быстрее. Но в такой скоропалительности и, в общем-то, незаслуженности успеха было что-то тревожное и даже как бы нечистое.

– Так понравился эпизод? – неуверенно спросил я.

Она отмахнулась:

– Эпизод как эпизод! Я его не переоцениваю. Просто стечение обстоятельств. Я узнала – у них там произошло ЧП.

– А что такое?

Анжелика объяснила. Дело в том, что выпускница ВГИКа, утвержденная на роль, забеременела. Само по себе это еще не было ЧП. Но она отказалась делать аборт, и вот тут-то киногруппа была повергнута в гнев и панику. Время идет, план летит, премия горит синим пламенем – а сопливая девчонка не хочет сбегать в больницу на вычистку! Пришлось в пожарном порядке искать замену...

Я кивнул – понятно, мол.

Видимо, Анжелика почувствовала мое состояние – меня всегда поражала в ней, при в общем весьма рядовом уме, эта мгновенная эмоциональная пронизательность, способность, как она сама объясняла, “сыграть от партнера”. Вот и сейчас она сказала, поморщившись:

– Неприятное ощущение. Радоваться надо, а – нет радости! Будто чужое украла.

Я не совсем искренне утешил:

– Ты-то при чем?

– Все-таки, – сказала она.

Лицо у нее было такое унылое, что я махнул рукой.

– Ладно, плюнь и забудь. Ты же не напрашивалась! Ну, вышло так. Зато есть роль. При всех оговорках сегодня счастливый день. Поздравляю!

Остановив меня жестом, она сказала озабоченно:

– Не надо. Это еще не все. Могут быть осложнения.

Анжелика как в воду глядела: осложнения начались сразу же.

Съемки с перерывами должны были длиться около четырех месяцев, вариант “между делом” тут не проходил, пришлось бы уезжать на неделю, а то и на три. Она пошла к руководителю курса просить разрешения.

Мастер, шестидесятилетний красавец, выслушал Анжелику, благосклонно кивая. Но оказалось, у него просто манера такая – благосклонно выслушивать все, что говорят. Зато потом он неторопливо и с удовольствием объяснил нестандартной студентке, что считает своим долгом художника воспитывать в стенах театрального института актеров с большой буквы, а не марионеток для белой простыни – прозвучало двусмысленно, и мастер тут же пояснил, что имеет в виду только киноэкран.

Он говорил долго, Анжелика нервничала, и на момент ей изменила обычная проницательность: она напонила мастеру, что ведь и сам он замечательно играл в кино.

Ей казалось, что этот аргумент должен собеседнику польстить. Но мастер не любил, чтобы его ловили на противоречиях. К тому же его не приглашали на съемки уже лет пять, и у него были все основания обидеться на такой вероломный вид искусства, как кино. Уже раздраженно он объяснил, что начал сниматься в тридцать пять лет, уже зрелым профессионалом, и что вообще уважающий себя человек к камере снисходит, а не карабкается. Кончил он тем, что посоветовал юной коллеге на студенческой скамье думать о профессии, а не о славе. Если же ее тяга к кино непреодолима, он от всей души пожелает ей творческих успехов, но в других стенах и под руководством другого мастера.

Словом, или – или.

Пересказав мне все это, Анжелика взобралась с ногами на кушетку и долго сидела молча, закусив губу. Да и что было говорить? Тут не говорить, тут решать надо было. Или – или.

– Ну, и как ты думаешь? – спросила она наконец.

Вздыхнув, я сказал, что, пожалуй, все-таки институт. Была бы профессия, остальное приложится.

Она взглянула задумчиво:

– Ты считаешь?

Больше мы об этом не говорили.

Но утром, за чаем, она сказала решительно, что если все-таки придется выбирать, уйдет из института.

Я пожал плечами:

– Не уверен. Фильмов может быть двадцать, а институт – на всю жизнь.

Анжелика подумала немного и убежденно проговорила:

– Ты не прав. Это институтов может быть двадцать. А вот фильм – на всю жизнь.

Спорить я не стал. Все-таки это был ее институт, ее фильм, ее жизнь. И решать надо было ей.

В конце концов, как это часто и бывает, проблема решилась обходным путем. Практичная Люба пораскинула мозгами, достали справку, хоть и сомнительную, но врачебную, поостывший мастер сделал вид, что в нее поверил, и Анжелика получила академический отпуск для поправки истощенной нервной системы.

Она тут же принялась укладывать все ту же сумку с красной пантерой на боку: надо было срочно ехать в заповедник под Ставрополем, где торопливо доснимали конец листопада.

Я заикнулся, что мог бы поехать с ней – устроюсь в группу рабочим или просто напишу натуру в том же заповеднике. Но Анжелика положила ладони мне на плечи:

– Милый! Ведь это первая моя настоящая роль...

В общем-то, она была права, и мне рядом с ней не работалось. Вот уедет, подумал я...

Анжелика уехала. Но воля мне впрок не пошла: к моль-

берту тащил себя чуть не силой. Были начатые вещи. Были замыслы. Все было, но ничего не шло. Женщина уехала, но все равно осталась, и мир по-прежнему был плоским, ярким, аляповатым. Все вокруг, как прямой луч прожектора, заливал дурной огонь страсти.

К счастью, оставался благородный принцип свободных художников: когда не можешь работать, зарабатывать.

Федька оставил мне адрес из нынешней халтуры, но бумажка с координатами исчезла куда-то, как исчезало в эти недели все: время, деньги, дела, планы. Я узнал новый телефон и позвонил Бондарюмке.

Подошла жена и сказала, что Володи нет в Москве. Какую-либо иную информацию по телефону она дать отказалась – выучка почти шпионская! Пришлось подъехать.

Дом был шикарный, светлого кирпича, с кирпичными же полукруглыми балконами. После беглого допроса на площадке я был впущен в квартиру.

Баба у Володи оказалась довольно молодой и габаритной, такой бы ядро толкать. Ее импортная юбка была напряжена во всех швах, как граната перед взрывом. Еще раз переспросив фамилию, хозяйка полезла в большой блокнот и долго его листала. Потом сказала:

– А, ну да, есть.

После чего успокоилась, заулыбалась, дала адрес и даже предложила чаю.

Я решил, что предложение из вежливых, но она настояла. Может, просто скучно одной.

Мы пошли на кухню. Квартира была хорошая, три комнаты с холлом, но мебелишка старая – видно, и Володя деньги не лопатой греб.

Хозяйка заварила чай, поставила варенье трех сортов. Теперь, когда личность моя опасений не вызывала, ее щекастое лицо было доброжелательным и простодушным.

– А то, может, пообедаете?

Тут уж я отказался решительно.

После первой чашки я похвалил чай.

– Так ведь индийский, – сказала хозяйка, – из железной банки.

Я похвалил и варенье.

– Так ведь свое, – было отвечено, – для себя старались.

Я похвалил квартиру.

– Площадь хорошая, – согласилась Бондарюмкина жена, – но в такие деньги встала...

Опять ответ был исчерпывающий, и опять на второй фразе тема иссякла. Я стал думать, что бы еще похвалить.

Выручила хозяйка:

– А у вас с Владимиром Андреевичем давно сотрудничество?

Последнее слово вызвало у нее некоторые затруднения.

– Да уже года три, – ответил я и стал хвалить Владимира Андреевича. Эта тема была побогаче: и какой он серьезный, и какой старательный, и как заказчики его уважают...

– Так ведь сколько лет занимается, – объяснила хозяйка. Чем занимается, она не уточнила – впрочем, и я бы не решился определить словом Володину профессию и жизненную роль.

Она положила мне еще варенья, и я сказал, что все мы за ее мужем как за каменной стеной. Она охотно поддержала тему:

– А потому, что ответственный. Другие абы как, а он – нет. Так воспитан, чтобы одно к одному. Что положено – все в архив. Если вдруг чего, другой бы забегал, а у Владимира Андреевича – будьте любезны! Полки сделали, и все в архив.

– Архив – великое дело, – согласился я с не совсем искренним подъемом, ибо не мог представить себе Володин архив – тетрадки свои с подсчетами, что ли, собирает?

Хозяйка налила еще по чашке.

– Это я слежу. Чтобы, как говорится, ни моли, ни пыли, – сказала она и вдруг засмеялась, видимо, просто от удоволь-

ствия, что все вышло так хорошо, и человека впустила в дом не абы какого, и разговор за чаем приличный и правильный, и варенье вкусное, и архив мужнин в порядке – слава Богу, есть чем хозяйке похвастаться!

– Помогаете, значит, мужу?

Неудобно было спросить, работает она или нет.

– А как же, – отозвалась она, – муж-то свой.

– И много бумаг набралось?

– Каких бумаг? – удивилась хозяйка.

– Ну – архив?

Она с достоинством усмехнулась:

– У кого, может, и бумаги, а у нас с Владимиром Андреевичем все в натуральном виде. Не экономим!

Она вывела меня в коридор и открыла дверь шкафа-кладовки. Я не сразу понял, что к чему. Справа на полках стояли рядами банки с вареньями и соленьями, а слева – холсты на подрамниках. Неужели наш шеф все же балуется художеством?

– Чтoб бумажки не отклеивались, опять я, – заметила хозяйка, – а то затеряется – гадай потом, кто чего.

– Вот это архив?

– Все по годам, по порядку.

Я наудачу вытянул один холст. Это был эскиз доски Почета. На обороте бумажка – фамилия и год. Что за странности!

Я поворожал картинку и вдруг увидел знакомую руку. Глянул на бумажку: точно, Федька. И уже целенаправленно достал следующий холст. Все верно – я.

Ситуация прояснялась. Но – зачем? К чему эта странная коллекция?

Хотя, впрочем...

Я вспомнил: года три назад, первая наша халтура с Бондарюшкой. Как-то вечером сидели, травили байки. И кто-то вспомнил сентиментальную историю, а может, легенду: как в Париже благодушный трактирщик из жалости кормил нищих молодых художников, а они расплачивались этюдами,

которые хозяин, в живописи не сведущий, сваливал на чердаке. Впоследствии некоторые из голодных клиентов оказались гениями, и добрый трактирщик неожиданно превратился в миллионера. Вот такой у нас тогда шел треп. А на следующий день Бондарюмко сходил на почту и принес известие, что для заказчика требуется эскиз нашей росписи, причем маслом по холсту, иначе бухгалтерия не переводит деньги. Мы поворчали, посмеялись кинули жребий, и самый неудачливый из нас взялся за кисть. А потом эскизы для заказчика вошли в норму.

Так вот, значит, кто заказчик...

– Образцово! – похвалил я хозяйку.

Мы пошли допивать чай, а Бондарюмкины лотерейные билеты остались в кладовке рядом с засахарившейся малиной и маринованными помидорами. Теперь только ждать, пока кто-нибудь из нас выйдет в большие люди и предусмотрительный трактирщик получит, наконец, свой законный миллион...

На сей раз халтура была без всяких сопутствующих прелестей: грязь, дожди, первые хлопья мокрого снега. А главное, сама работа – по чьим-то вялым шаблонам, ремесленная, почти малярная.

Федька матерился, я малярил безропотно. Эта убогая пахота на чужом поле была мне заслуженным и потому справедливым наказанием. Как говаривал еще в училище один разумный человек, если душа ленится, пускай рука ишачит...

Я вернулся через две недели. Спеша вечером по переулку, издали вроде бы нашарил взглядом слабый свет в окне. Но, подойдя ближе, понял, что это всего лишь отблеск фонаря напротив.

На тумбочке у двери лежали два ее письма – про то, как любит меня, как интересно сниматься в кино и какое это трудное, ни на что не похожее искусство. Я посмотрел даты: второй и четвертый день по приезде на место, последнее пришло полторы недели назад. Я ей писал почти ежедневно.

Но, с другой стороны, мои вечера были пусты, а у нее там – ни на что не похожее искусство кино, черт его знает, какие у них условия...

Утром я побежал к почтовому ящику. Ничего.

Послал телеграмму, здорова ли. Ничего.

Она приехала на пятый день. И не открыла дверь своим ключом, а позвонила. Прошла коридором в комнату, бросила на пол сумку с пантерой, прикрыла за собой дверь и, прислонясь к ней спиной, сказала:

– Если хочешь, можешь меня убить.

...Все же странно, как сразу, всем своим клубком врывается в человека сложное событие. Она еще не договорила свою, видимо, заготовленную фразу, а я уже знал, что произошло, чего хочет она и чего захочу я. Потом так и вышло с малыми неточностями.

Но в тот момент, словно соблюдая какой-то неизбежный ритуал, я спросил ее с чем-то даже вроде улыбки:

– За что же тебя убивать?

– Ты имеешь право, – сказала она. – Я полюбила другого.

– Режиссера, что ли?

Мне не хотелось называть фамилию.

Она спросила растерянно:

– Тебе написали?

Я пожал плечами:

– Кто мне станет писать?

– А тогда откуда знаешь?

– Не осветителя же тебе любить.

Она опустила голову:

– Я понимаю, ты вправе со мной так говорить – я тебя предала. Но это было сильнее меня.

Она говорила сдержанно, но как-то слишком уж сдержанно. И поза у двери была слишком уж повинна. Текст, думал я, текст.

– Ну раз уж так вышло, – сказал я, – что ж, любовь – дело святое.

– Можешь презирать меня, ты вправе... Только не ненавидь!

Я думал – уйти? Но комната не моя, снимаю. Ей уйти? А куда? Не назад же в общежитие! Впрочем, может, теперь и есть куда...

– Тебе с ним хорошо? – спросил я довольно равнодушно.

Она ответила:

– Хорошо мне было только с тобой. Но не в этом дело, это все не имеет значения. Я даже не знаю, какой он человек. Может, плохой, может, бабник, даже наверняка бабник. Но это сильнее меня. Понимаешь, он гениальный режиссер.

Я видел парочку его фильмов: яркие краски, громкая музыка, многозначительные жесты. Он не был гениальным режиссером, даже хорошим, пожалуй, не был – просто он дал ей большую роль. И то, что с ней произошло, была не плата за место в кадре, не взятка телом, а просто внутреннее рабство начинающей актрисы, оглушенной случайной удачей. Я понимал, что все это у нее наверняка кончится, может быть, даже скоро – и, наверное, стоило хотя бы объяснить ей происходящее с ней самой. Но всем своим существом, всем порядком и сумбуром в голове я ощущал другое: что меня это больше никак не касается. Ревности не было, боли, пожалуй, тоже, лишь отчуждение и легкая брезгливость. Чужая женщина стояла, прислонясь спиной к двери, манерно опустив голову, и произносила всякие манерные слова. Я чувствовал, какой результат разговора ей нужен, и тупо искал фразу, которая помогла бы ей побыстрее этот результат достичь.

– Любовь – дело святое, – повторил я, не найдя ничего лучшего, – раз уж так вышло...

– Я даже не прошу прощения, – проговорила она своим сильным, как бы пружинящим голосом, – я обязана уйти. Рядом с тобой я бы всегда чувствовала себя грязной, а я не хочу быть грязной рядом с тобой. Ты – самое чистое, что у меня есть.

Текст, думал я, текст...

Я сказал:

– Лишь бы тебе было хорошо.

И пошевелил ладонью в воздухе, как бы на расстоянии похлопал ее по плечу.

Она вдруг быстро шагнула вперед и, упав на колени, обняла мои ноги, волосы коснулись пола. Я стоял столбом. Тогда она легко поднялась, словно скользнула вверх, положила руки мне на плечи и сказала неожиданно просто:

– Я знала, что ты поймешь. Спасибо.

И влажно посмотрев мне в глаза:

– Милый, давай прощаемся!

Я обнял ее, провел ладонями по спине. Чужое тело прижималось ко мне, не вызывая никаких эмоций.

– Счастливо тебе, – сказал я и осторожно отстранился.

Она усмехнулась, горько скривив губу:

– Наверное, ты прав.

Схватила сумку с пантерой и выбежала.

Тем же вечером у меня пошла работа. Почему, не знаю: как прежде ушло, так теперь вернулось. Часа за три с чем-нибудь я написал “Натюрморт при электрическом свете” – написал сразу, почти безошибочно, словно кто-то, все заранее знающий, водил мой рукой. Старая четырехногая табуретка, заляпанная краской, на ней две кисти, несколько полувыдавленных, смятых тюбиков, краюха черного хлеба на куске газеты и полстакана остывшего, словно загустевшего чая. А сверху – пыльная голая лампочка в шестьдесят свечей.

Умотался я так, что уснул мгновенно.

Дня через два забежал Федька, постоял, посмотрел.

– М-да... Это у тебя просто символ веры. Страшновато...

Подумал и сам объяснил:

– А что делать – жизнь такая!

Полтора месяца я работал почти непрерывно. И не то чтобы намерстывал упущенное – просто шло. Все предме-

ты вокруг обрели свой цвет, все тени легли на положенные им места. Подсохшие холсты ставил в угол; что вышло, разберусь потом. Вроде колорит получался потемнее, чем прежде, но это не была какая-то вселенская скорбь: просто ноябрь, низкие облака, узкое окно в затененный переулок. Ну, отчасти и настроение: полоса анализа, трезвости, раздумья. Жизнь такая.

Была и еще причина редкого моего трудолюбия: пока работал, почти не думал о постороннем. “Натюрморты при электрическом свете” затягивались до полуночи – писал, пока в глазах не поплывет. Зато засыпал сразу: ни снотворного, ни спиртного не требовалось.

А утром – утром было нормально. Вот уж не думал, что так нетрудно терять.

Один раз я все же сорвался – неожиданно, без всякого повода, примерно через неделю после ее ухода.

В тот день у меня была студентка ветеринарного, плотная молчаливая девушка, почти не знакомая, я писал ее, усадив на ту же старую табуретку. На девушке была стереотипная джинса в самом дешевом варианте, грубая, с перебором, косметика, слишком яркий маникюр на крупных руках. Но вся эта неумелая амуниция начинающей горожанки лишь подчеркивала ее человеческую надежность, внутреннюю порядочность, способность до конца тянуть свою лямку, что я и положил на картон.

Когда стало темнеть, я вымыл кисти, вымыл руки – и вдруг почувствовал, что не могу остаться один. Ночь маячила впереди черным колодцем, бесконечной гулкой дырой. В первый раз за время без Анжелики я физически, звериным стоном под ребрами, почувствовал, что ее рядом нет.

Сбивчиво упросив студентку не уходить, я побежал в магазин. Купил водки и что-то крепленое, судя по цене, скромных достоинств – на лучшее денег не осталось.

Когда вернулся, стол был накрыт, то небольшое, что име-

лось на подоконнике и между рамами, настругано и разложено по тарелкам. Хлеб был нарезан большими ломтями – так режут в семьях, где привычен физический труд. Вот и возникла краткосрочная современная общность; пока мужчина бегал в мужской отдел “Гастронома”, женщина занималась женским делом, в меру возможностей облагораживала быт...

Видимо, девушка что-то поняла. Она не противилась, когда я плеснул водки и в ее стакан, и потом тоже ничему не противилась. Каким именем я называл ее ночью, что бормотал, что орал о вечной любви, до синяков сжимая терпеливые плечи?

Утром, готовя завтрак она сказала:

– Ты так бредил во сне, даже плакал. Я думала, заболел.

Она спешила в институт, я проводил ее до метро.

Заболел? Может, и было, вполне могло быть. Но как в парной бане потом выходит простуда, так той ночью криками и слезами вышла болезнь...

Еще оставались кое-какие житейские мелочи – пяток книг и второстепенное Анжеликин^г барахлишко. Тряпок было мало, но месяц спустя что-то из оставленного, видимо, все же понадобилось.

Была проявлена тактичность: за вещами пришла Люба.

То есть пришла она как бы не за вещами, а просто повидаться, попить кофе и так далее. Я как бы в это поверил и поставил на огонь турку, приобретенную еще в эпоху умной прокуренной Веруши. За столом положено о чем-то говорить, и мы о чем-то говорили.

Но не в характере скуластенькой девушки было ходить вокруг да около.

– А ну его к черту! – вдруг сказала она резко. – Работаешь?

Я взглядом указал на подрамники у стены. Она – взглядом же – их пересчитала.

– Ну и молодец, – сказала Люба, – и ноги унес, и голова цела.

– А что, были опасения?

– Еще какие! Наша девушка не для слабых. Кстати, сама Анжелика просто умоляла меня хоть на неделю переселиться к тебе, чтобы не покончил с собой. Не отставала, пока Пашка не взбунтовался.

– Взбунтовался?

Мне трудно было представить бунтующим этого нескладного флегматика.

– Ага, – кивнула Люба, – он у меня лапочка. Всегда скандалит, когда я попрошу.

Помолчали.

– Она сама-то как?

Это прозвучало почти безразлично, и особых усилий к тому прилагать не пришлось: в месяц, прошедший с разрыва, как в яму, ухнуло столько жизни, что теперь история ощущалась как давняя.

– А все в порядке, – странно, с каким-то даже вызовом, сказала Люба.

– Тогда слава Богу. Лишь бы ей хорошо.

– А ей хорошо.

– Ну, и хорошо.

– Почти как с тобой.

– Тогда действительно все в порядке.

Она сказала не сразу:

– Может, уже и заявление подали.

Вот это меня удивило.

– Даже так?

– А как же еще? Он сейчас холостяк, а у него язва. Значит, без жены нельзя. А Анжелика девушка не легкомысленная: уж если любовь, то навек.

Наверное, вид у меня был достаточно растерянный, потому что Люба резко повернулась и спросила почти зло:

– Ты что, дурак? Неужели ты так ничего в ней и не понял? Она актриса! Понимаешь, актриса, и талантливая. Только техники пока мало. Поэтому берет эмоциями, в

любую реплику вгоняет себя целиком. Просто не умеет наполовину. И во всем так. Влюбилась – значит, по уши и на всю жизнь. То есть до новой роли. Потому что новая роль – это новая жизнь... – Подумала, вздохнула и заключила: – Впрочем, с ним это, может быть, надолго, ведь он режиссер.

Я не совсем понял:

– Нужный человек, что ли?

Люба отмахнулась:

– При чем тут это! Нет, наша девушка не продается. Но он режиссер! Командует ею. Орет, дергает, как марионетку. Хозяин. Думаешь, легко беспрекословно подчиняться мужику, в которого не влюблена?

Она вдруг заскучала, заторопилась и вот тут-то как раз сказала про барахлишко, объяснив, что Анжелика не пришла сама, чтобы меня не травмировать.

Я сложил вещи. Из-за книг узел получился увесистый. Я предложил донести куда надо, и тут же понял, что ляпнул глупость: куда надо мне как раз и не надо.

Люба сказала:

– Еще чего! Пашка донесет.

– А где он?

– Там гуляет.

– Так ведь холодно. Не обидится?

Она возразила несколько даже высокомерно:

– У нас это не принято.

– В строгости держишь?

Это ее почему-то задело. Ореховые глаза сузились, и она проговорила напряженно-ласковым голосом:

– Дай Бог, моя радость, чтобы к тебе кто-нибудь относился так, как я к Пашке.

Я забормотал, что ничего такого не имел в виду...

– Вот и прекрасно, – оборвала она. Еще раз глянула и то ли серьезно, то ли с издевкой объяснила: – Вы люди творческие, вам нужны страсти. А мне эти возвышенные терза-

ния абсолютно ни к чему. Я даже болею при температуре тридцать шесть и шесть.

Последнее слово осталось за Любой, поэтому ушла она улыбаясь. Узел с Анжеликиными вещичками мотнулся в дверях. И – сдавило, сдавило грудь, словно бы именно сейчас происходила хирургическая процедура разрыва.

Так только что-то от нее в комнате оставалось. Теперь – все...

Впрочем, и это было не все.

Через несколько дней Анжелика позвонила, мы встретились у метро, и в углу, возле ряда автоматов сдержанно обсудили формальности развода. Хотя “обсудили” – это слишком сильно; просто Анжелика принесла готовые бумаги, я расписался, где положено, и еще на отдельном листке написал, что прошу оформить развод в мое отсутствие, поскольку никаких претензий, в том числе имущественных, к бывшей супруге у меня нет.

Простились вежливыми улыбками, как сослуживцы из разных отделов, – за руку было бы еще нелепей. Поколебавшись, Анжелика чмокнула меня в щеку. Вполне интеллигентно расстались.

Через несколько месяцев я узнал, что она вышла замуж за того режиссера.

Окончание следует.

Лао-Цзы. Отрывки из “ДАО ДЭ ЦЗЫН”

Переложения Александра Гениса

Даосы писали так, как все должны бы: просто, но глубоко, глубоко, но просто. Это – литература гениальных эссе, преодолевшая различия между стихами и прозой, между субъективным опытом и безличной природой, между своим временем и нашим. Их тексты годятся для любой эпохи, но в первую очередь – нашей, которая так горько разочарована в логическом, системном, сугубо рациональном подходе к миру. Любви к китайцам помогает разнообразие переводов. Особенность китайского языка превращает любой перевод в достаточно свободную интерпретацию, в одну из трактовок, не исключаяющих, а подразумевающих другие. Поэтому так изумителен Чжуан-цзы в переложениях американского монаха Томаса Мертона, который не знал китайского языка вовсе. То же самое происходит с беспримерно популярным сейчас на Западе Лао-Цзы. В Америке существует двести переводов “Книги о пути и благодати”. И все они толкуют об одном по-разному, в том числе с помощью диких анахронизмов. В некоторых изданиях упоминаются даже тракторы. Я представляю, что по этому поводу скажут академики, но мне такая практика страшно нравится. Именно ее и имели в виду восточные мудрецы, когда говорили: не следуй за учителями древности, иди туда же, куда шли они. По-моему, старых китайцев надо переводить на русский до тех пор, пока их изречения не появятся на майках и бамперах машин.

Неназванное вечно,
имена рождают вещи.

Тот, кто свободен от желаний, знает о тайне,
Тот, кто погряз в них,

видит лишь ее проявления.

1.

Бытие и небытие создают друг друга.
Трудное и легкое поддерживают друг друга.
Длинное и короткое описывают друг друга.
Высокое и низкое зависят друг от друга.
До и после следуют друг за другом.
Поэтому мастер
делает не делая
и учит не уча.
Вещи появляются, и он не мешает им;
Вещи исчезают, и он не задерживает их.
Он создает, но не владеет созданным;
творя, не ждет результатов.
Когда труд окончен, он забывает о нем.
Поэтому все достигнутое остается в нем.

2.

Мастер учит,
опустошая ум и наполняя нутро,
смирняя честолюбие и укрепляя уверенность.
Он помогает людям избавиться
от всего, что они знают,
от всего, к чему они стремятся.
Он внушает сомнения тем,
кто думает, что их лишен.
Не вмешивайся,
и все само займет свои места.

4.

Рождая добро и зло,
Дао по ту сторону того и другого.
Не судя,

Мастер принимает всех.

Дао – как кузнечные меха:

чем больше в них пустоты, тем они сильнее,

чем чаще их сжимают, тем лучше они работают,

чем больше об этом говорить,

тем труднее это понять.

Лучше просто держаться центра.

Дао – как поле.

Пустота его подобна материнской утробе.

Но рождает все,

и плодородие его не прекращается.

Пользуйся им, и оно никогда не истощится.

Мастер подобен воде –

и всем добра, она ни с кем не спорит.

Сильные стремятся вверх,

а она – вниз,

этим она похожа на Дао.

Иногда как вода:

текает ближе к земле

и мысли глубже.

И побеждает того, кто не спорит.

Не ждешь, не пытаешься завладеть рожденным,

не говоришь, не рассчитывая на результат,

не стремишься, не пытаешься давить –

и достигнешь вершину достоинств.

13.

Мастер идет, будто по тонкому льду,
осторожен, как в тылу врага,
уступчивей тающего снега,
причудливее корня,
открыт, как долина,
непроницаем, как болотная вода.
Хватит у тебя терпения ждать,
пока муть осядет?
Пока решение придет само?

15.

Тот, кто стоит на цыпочках,
нетвердо держится на ногах.
Тот, кто торопится вперед,
далеко не уходит.
Тот, кто блещет,
приглушает свой собственный свет.
Тот, кто ищет себе определения,
не узнает, кто он.
Тот, кто преодолагает себя,
лишается сил.
Тот, кто цепляется за свою работу,
не создаст ничего долговечного.
Если ты хочешь быть в согласии с Дао,
сделай свое дело – и иди.

Из цикла

СИММЕТРИИ

Юлия Немировская

КОЛОНИСТЫ

В штате Новая Мексика зимой тепло, и даже в прохладные дни мы плаваем в нагретом бассейне и лежим в гамаках на солнце. Нас трое, иногда гостит мама или приезжает сестра с семьей из Бостона, неподалеку живет семейство физиков из Сибири, а если спуститься с подножия нашей горы, сразу попадаешь в окруженный пальмами район, где стоит дом фольклористки Ольги и ее американского мужа, антрополога Энди. Наши дети дружат и устраивают домашние спектакли, мы проходим с ними программу московских школ, смотрим русские фильмы и напиваемся в праздники.

Звонят друзья из калифорнийского университета в Беркли: “Ваши дети ходят в их идиотскую школу? – Да, но только до двенадцати, потом учим сами”.

Чикагцы: “Нашли русскую няню – и жизнь переменялась. Теперь каждый день – праздник. Мы сняли ей квартиру наверху. А вы прочитали Бакина? – Да, меняем на дневники Пришвина или “Охоту на бабочек”.

Угадали? Чья жизнь приходит на ум? Конечно: английских колонистов в Индии! Гамаки, большие дома, книги – жить так годами, не смешиваясь с аборигенами, чтобы сохранить в неприкосновенности свой выговор, свои манеры и обычаи, чтобы дети смогли вернуться домой и поступить в Кембридж (читай – МГУ).

Если это – волна эмиграции, то явно новая волна. Не бедствующая и гордая первая, не растерянная послевоенная вторая, не диссидентская третья и не колбасная четвертая.

Колонисты. Пусть не английская корона, а американские университеты платят нам за то, что мы не возвращаемся домой. Пусть мы хорошо знаем здешние язык и нравы, читаем “Нью-

Йоркер” и ходим в гости к местным жителям. Все же мы каста, задирающая нос выше здешних браминов.

Наивные и простодушные, мало читавшие и меньше нашего колесившие по свету аборигены в разговорах с нами волнуются, стараются понравиться, порасспросить. “Где вы выучили столько языков?”, “Что вы думаете о нашей политике?”

И, наконец, к полному нашему удивлению: “Откуда вы столько всего знаете? Вот я учился в Йейле...” – “Из школы”. Средней школы номер двадцать один Дзержинского района города Москвы, добавляю я про себя и даю себе слово больше не расстраивать этих добряков, в гостях сидеть и молчать.

Американцев, конечно, уже в детстве убедили в превосходстве дяди Сэма и бескастовой демократии над всем чем угодно, но сами по себе они чувствуют себя в мире весьма неуверенно. У них нет родных мест: они без конца переезжают. Большинство их не входит ни в какую социальную группу с четко очерченным кругом правил. Несмотря на пресловутый традиционный индивидуализм, они лихорадочно пытаются создать такие группы: нигде в мире так не прижился феминизм, нигде так триумфально не шествуют члены Общества Анонимных Алкоголиков. Но и у этих примкнувших не развивается кастового сознания, и у них на дне души страх непричастности к чему-либо, просто страх. И средний мыслящий американец, *americano sapiens*, со всех ног бежит к психоаналитику или дежурному философу – в последнее время их все больше, гуманитариев, занимающихся философотерапией – объяснением смысла жизни. Говорят, подобное скоро случится с гражданами всех развитых демократий.

А я лежу в своем гамаке и говорю Богу:

– Господи, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне родиться на улице Щепкина, бывшей Третьей Мещанской, и двадцать шесть лет прожить в России. Ты окружил меня сначала бабушкиными иконами и банками со сгущенкой, потом книгами и портретами Солженицына и Хэмингуэя, потом друзьями и спорами, потом любовью и ложью. Кто сказал, что мы вынесли из прошлого несвободу? Свобода – это знать, кто ты и откуда. Из какой касты. Из какого теста.

И тогда, конечно, можнс тать колонистом.

КРЫСЫ БРЮСА

На американском “party”, то бишь приеме, не говорят ни с кем более трех минут, переходят от человека к человеку, от группы к группе, заводя знакомства. Если полезные – это называется “networking”, что можно перевести не только как “налаживание связей”, но и как “закидывание сетей”. А если полезных людей нет, аборигены втихаря нажираются на дармовщинку и линяют. Один раз к нам в гости пришел некий американский математик, увидел застолье и побежал звонить жене. Я услышала, как он говорит ей: “Тут еда бесплатная”. О дети мира чистогана!

Не пойти на факультетский прием считается дурным тоном, и хотя настроение у нас накануне вечером всегда портится, мы идем. Убит вечер, погиб, погиб безвозвратно! Дорога вьется между громадными техасскими дубами с крошечными листиками – в гору, к дому милого и всегда растерянного декана математического факультета. Зовут декана, как колдуна петровских времен, Брюсом. А фамилия у него почему-то Палка. Брюс Палка.

Вначале подаются белые поджаренные на гриле сосиски. Мой трехлетний сын мудро отказывается, зная, что после этого безобразия все-таки подадут десерт, и идет гоняться за ровесницей-китайкой в батистовом платье. Муж уже чертит с коллегой-математиком треугольнички на песке возле дома. Я должна взять светское общение на себя. Начнем с мамы-китайки. “Прелестная у вас девочка”. – “И ваш мальчик какой милый, хорошо они играют”. Уф. Входят наши друзья, настоящие друзья, Дейв и Андреа, машут, зовут, но их оттирают, уводят. Возникает какая-то женщина, ее подводит ко мне хозяйка, говоря: “Вот ваша соотечественница, она тоже из России. Я рада, что вам будет не скучно!” “How age you?” – говорит дама из России, стараясь произносить слова на американский лад. Ну уж нет! “Здравствуйте, очень приятно познакомиться”, – говорю по-русски, и русская дама отвечает, коверкая слова: “Отвыкла за три года”, – и уходит в толпу гостей. Я слышу, как она рассказывает кому-то с чудовищным акцентом, что ее зовут Клэр (Света, что ли?), что она училась в институте “международных языков” (инязе, что ли?), но ушла оттуда, потому что профессора в советских вузах настаивали на том, чтобы студентки с ни-

ми спали. “Вот тебе раз!” – проносится в моем угнетенном мозгу. И снова ко мне движется хозяйка. Я диким взглядом обвожу террасу, но скрыться негде. “А вот я вам покажу питона. Его завел мой сын, но он уехал в колледж, и теперь мы живем с Брюсом и питоном”. Питон раскинул свои жирные кольца по аквариуму, он накрыт стеклом, и для верности на стекле лежат четыре больших камня. “Я считаю, что у детей должно быть домашнее животное. Питоны любят обвить руки или шею и вот так душат. Наш питается крысами, мы покупаем мороженных в зоомагазине, иногда они в продуктивном тоже бывают – там, где собачий корм. Ему нужна всего одна крыса в день, одна крыса”. Хозяин разносит вино, я заглатываю два стакана и, обмякнув, даю себе слово, что никогда, никогда... И вежливо так, вежливо: “Чудесный питон. Вечер прекрасный – но у нас ребенок ложится рано. Спасибо за все!” Только бы найти их обоих – и к машине. Ура! Идем уже в темноте. Митька засыпает на руках под китайское прощание: “Гуд бай си ю сун!” Я вскрикиваю: под ногами ползут разной величины змеи. “Тут корни всякие, не споткнись”, – говорит муж. Ночью же мне снится толстый декадент с китайскими глазками, он говорит: “Меня зовут Брюс. Брюсов. У меня есть питон, и представьте – он питается крысами и носит ручные часы. Си ю сун”.

По-нашему: до новых встреч.

СВОБОДА ВЫБОРА

Мы с моей подругой Джейн живем в одном городе. У нас много общего: мужа-математики; дети почти одного возраста – у Джейн двухлетний сын Кевин и четырехлетняя дочка Гвендолин, у меня трехлетний сын Митька. Но уйма всякого отдаляет нас друг от друга, и прежде всего как раз методы воспитания детей.

– Джейн, – говорю я удивленно, – смотри, у Гвендолин два совершенно одинаковых пупсика.

– Один из них – это пупсик Кевина, – отвечает Джейн, – у детей не должно развиваться специфически “девчочковое” или “мальчиковое” поведение, им должны быть доступны любые гендерные роли.

– А у Гвендолин разве есть пистолеты и машины? – спрашиваю я.

Дом Джейн я знаю не хуже своего и помню, что в спальне Гвен не видела никаких “специфически мальчиковых” игрушек.

– Конечно, – отвечает Джейн в некотором замешательстве. – Но они в ящике... Гвендолин не любит, чтобы их видели.

Так же, думаю я, как она не любит носить брюки. И попробуйте наденьте ей синее или голубое – она закричит, что девочки носят розовое. А пластмассовые коробочки в ее спальне заполнены колечками и лентами. Зато Кевин уже разбил окна соседям и в церкви перещикпал всех прихожан за попы.

Увы, у моей любимой умницы Джейн есть два бога: один зовется “свободой”, а другой “выбором”. И она, как и большинство ее соотечественников, полагает, что наши судьбы и характеры не навсегда вырезаны в граните жизни, а изменчивы и прихотливы.

Слова “свобода выбора” красовались на знаменах американских шестидесятников. Сами эти знамена уже поблекли, но шестидесятники все еще пожинают плоды своей революции. Например, они не дают детям образования, если дети не хотят учиться.

– Да, знания хороши, но не в том случае, когда они могут поработить волю ребенка, – говорит Джейн. – Надо найти ту область, которая занимает его.

Я как раз учу в университете этих обладателей свободной воли и, честно говоря, не знаю, что можно поделывать с девятнадцатилетними олухами, прочитавшими за всю жизнь одну или две книги и желающими стать филологами. Конечно, мне нельзя ничего им говорить по этому поводу, и мы героически играем в профессора и студентов, но про себя я бормочу, как бормотал когда-то наш сосед-алкоголик по лестничной клетке, пытаясь открыть свою дверь перочинным ножом: “Поздно, Вася, пить Боржоми”. Нечто подобное испытывает мой муж, когда преподает высшую математику стайке свободнорожденных янки, не умеющих складывать дроби.

На заседаниях нашей кафедры принято рассказывать друг другу о своих курсах. Наша единственная дама-преподавательница немецкой литературы читает лекции по творчеству немецких женщин турецкого происхождения.

– Они с предыдущей литературой уже ознакомились? – спра-

шиваю я наивно и коварно. – Гете, Гейне, Томаса Манна прошли?

Увы, ответ мне известен. Будущим германистам полагается по два курса немецкой литературы на нос, из которых один – вышеупомянутое творчество немецких турчанок, а другой – его читает мой друг, борец за права женщин на аборт – другой называется “Аборт в послевоенной немецкой литературе”. Мне также доподлинно известно, что в соседнем университете русская литература представлена только одним курсом: “Гомосексуальные темы у Толстого и Достоевского”. У себя на факультете я настояла на некоем минимуме ликбеза, заслужив титул “любительницы белых мертвых мужчин” (конечно: ведь Гоголь, Толстой, Чехов – все белые, все мужчины, все мертвецы). Из-за свободы выбора никто, однако, не может запретить мне преподавать моих мертвецов, а немцам – их турчанок и аборты. Но никто не может и заставить студентов читать по спискам.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Года три назад мне пришлось читать курс “Толстой в переводе”. Я обрадовалась. Дело в том, что есть курсы, которые средний американский студент не может осилить – и точка. Например, “Творчество Достоевского”. Студенты по поводу каждого героя Достоевского говорят: он был болен. И спрашивают: почему не сходил к психоаналитику? не пил транквилизаторы? Или еще так: почему был столь дурно воспитан? не думал о других? Одним словом, преподавание Достоевского уже в первом моем американском университете окончилось полным фиаско: я смутилась, как будто дурно воспитана была именно я, а не Митя Карамазов, и втянулась в бессмысленный с точки зрения литературы разговор о пользе и вреде психотропных средств. Провальный же университетский курс обычно подобен для меня трехмесячной болезни с приступами гнева и меланхолии.

Не то Толстой: в отличие от Достоевского, у него все сияют здоровьем или по крайней мере воспитанностью. И курс по Толстому прошел с блеском и явился триумфом литературы в целом и великого русского писателя в частности. В моем суеверном сознании сложилось еще и мистическое объяснение этого триум-

фа. Дело в том, что мой прадед Дмитрий Константинович Мельников был толстовцем, ходил босиком на поклон к славному старцу. И хотя Толстой и толстовцы – совершенно разные вещи, все же я втайне думала, что – покровительствует, да, покровительствует кряжистый гений своим незадачливым последователям и их потомкам.

Лишь один раз за весь семестр я позволила себе отозваться о Толстом неуважительно. Я сказала: “На старости лет сошел Лев Николаевич с ума, перестал есть убойную пищу”. И по умным личикам моих студентов было видно, что зря, ох зря лягнула я эту некрасивую фразу.

Кончился семестр, и мы поехали на зимние каникулы в Египет. Я полюбила упоительную пестроту восточных базаров и часами смотрела на деревянные прилавки, усыпанные матовым виноградом, золотой папайей, игрушечным блеском помидоров и морщинистым бархатом кураги. Но два ряда, рыбный и птичий, я ненавидела. Там ловкие торговцы брали трепыхавшихся рыб за хвосты, точным движением ударяли их о край прилавка и протягивали покупателям россыпи крови и серебра. Птицы же просто мертво висели вниз головами на веревках, и перья их трепал ветер.

Интересны узоры наших жизней, но нет времени, чтобы хоть начерно срисовать их и запомнить! Мы были на востоке целый месяц, и почти все стерлось у меня из памяти, кроме базара и того дня, когда я впервые поняла, что не могу прикоснуться к источающему нежный запах горячему мясному жаркому. Как будто бы кто-то сзади гаркнул: “Убойная пища!” – и затрепыхались серебряные рыбки и покрытые перьями птицы. На следующий день снова та же история: сочащееся мясо и трепыхание живой рыбы и дичи в мозгу. А добавок неизвестно как всплывшая в памяти строчка друга моей юности, поэта Марка Шатуновского: “Откровенно убитое мясо”.

Вернувшись в Америку, я влилась в ряды многочисленных местных вегетарианцев. Как правило, вегетарианцы еще и зеленые. Это шестидесятники и их дети, либералы и интеллектуалы с гитарами, байдарками и подзорными трубами. Они худые, смуглые, мускулистые; мужчины обычно с хвостиками. У одного на шее бисерный ксивник или ожерелье из ракушек, у дру-

гой на руке браслет-фенечка, третий в уборной не вытирает руки бумажными полотенцами, носит с собой платок. Лес, значит, бережет. Вегетарианцы покупают продукты в специальных кооперативах и ходят в свои кафе, где главными блюдами обычно бывают тофу и овощи в арахисовом соусе.

Я узнала, что вегетарианцами были многие великие, например Леонардо да Винчи, писавший, что скоро люди будут смотреть на убийство животных так же, как сейчас смотрят на убийство людей. Кстати, убивают животных в Америке довольно интересным способом. Придумала его одна женщина-биолог, единственная аутичная женщина, ставшая доктором наук. Животное идет по дороге в гору, по сторонам дороги растут деревья и цветы, играет нежная музыка. Преодолев вершину, оно исчезает из поля зрения своих товарищей. И там, за горой, в него бесшумно стреляют, причем поражают мозг, чтобы смерть наступила мгновенно. Эти новые боины называются “Дороги в рай”.

Но я не могу взять в рот даже таким гуманным образом убитую снедь.

Вот какую шутку сыграл со мной Лев Николаевич Толстой.

ВЕЩИ

Я хорошо помню, как баба Лиза убирала совсем прохудившиеся носки на тряпки. В числе десяти дорогих вещей она хранила кружку, которую ей, только что приехавшей на заработки из деревни, подарили в день коронации Николая II на Ходынке. У меня и еще нескольких самых балованных девочек-ровесниц было по три-четыре платья на один возраст. Наши с сестрой вещи помещались в трехчастный шкаф-хельгу. Помню, мама говорила папе: у меня в этом году ни одного нового платья.

Что же заполняло наши квартиры? – В основном, книги – но это только стены. Впрочем, что было заполнять в хрущевских “распашонках”, в квартирках, где кухни лопались от четырех невымытых сковородок?

Шло время, и копилось разное: хорошее твидовое пальто, сандалии, из которых я выросла, но до которых не доросла сестра. А когда быт наш стал полегче, лавиной понеслись сувениры

– сухие букеты с прибалтийского песенного праздника, кувшины из щедрой Грузии, игрушки из маминой турпоездки в Польшу. Все это показывалось знакомым, горячо обсуждалось: куда поставим? Всем любовались, ко всему долго привыкали. Потом старые вещи поехали на дачу: там на шести сотках, где никому ни до кого нет дела, можно было носить рваное, пить чай в саду из чашек со щербинками, из дверцы старого шкафа делать дверь для душа.

Наступила новая эпоха, люди отправились в чужие края, ибо что такое для русского свобода? – возможность посмотреть на старые камни или выпить среди неведомых соблазнов. И из каждой поездки привозились подарки: пластмассовые игрушки, куртки, фарфоровые мельницы. Может быть, вместо того, чтобы написать: “Здесь был Вася”, новый, цивилизованный Вася захотел обессмертить свое пребывание в Венеции, купив стеклянный цветок у стеклодува? А приехав, увидел, что в шкафу-горке нет места, на полках перед книгами уже стоят тарелочки с Эйфелевой башней, а на журнальном столике лежит подаренная другом с Камчатки раковина.

Что лукавить, так, так было с нами: когда я с мужем и двухлетним сыном уезжала из Москвы в Стокгольм, у нас был чемодан с книгами, чемодан с вещами и мешочек с игрушками; когда мы из Стокгольма перебирались в Америку, у нас оказалось четыре чемодана и глобус; когда в первый раз переезжали из штата в штат, везли два десятка ящиков; а для третьего переезда наняли грузовик, на который взгромоздили двести полных картонных коробок.

Да, в Америке полагается каждый день менять одежду, каждый месяц покупать обнову, жить в просторных домах, но – двести коробок? Они стояли в гостиной, и у меня не было ни малейшего желания вскрывать их. Там молчаливо лежали наши вещи – знаки дружбы, нежности, любимые книги, игрушки, подаренные на дни рождения.

Папа любил рассказывать один эпизод из своей жизни. Однажды в командировке в Сибири он пошел охотиться и набрел на поляну, где, прислонившись к сосне в снегу, сидел человек и курил трубку. По его ватнику было ясно: бежал из лагеря. Папа притаился. Что если лагерник захочет убраться свидетеля? Но бег-

лец сидел так спокойно, что захотелось подойти, поговорить. Подойдя же, папа увидел: человек в ватнике мертв. И дымится трубка. Папа долго оцепенело стоял, держась за сосну. “Вот так, малыш, – говорил он всегда, заканчивая эту историю. Дымилась трубка. Вещи нас переживут. Что копить?”

Наконец я решила разрезать скотч и вытащить содержимое первой коробки. Посуда – это ничего, она бьется; куртки, из которых дети выросли, отнесем в церковь. А вот эти белые подставки для книг из оникса, эти настольные картинки в рамках вишневого дерева, эти солдаты из терракоты с китайской выставки и мраморные шарики – они, конечно, будут поблескивать из всех углов на моих поминках. Быть по сему.

ТУДА И ОБРАТНО

Вот мой ритуал: каждый вечер, когда все в доме ложатся спать, я варю себе пару горстей креветок, открываю мексиканское пиво Negro Modelo и с креветками выпиваю бутылку. Мексиканское пиво, а какое же еще пить в этих краях: хоть тут и Америка, но называется она Новая Мексика. В нашем городе, например, по официальной статистике больше половины жителей мексиканцы или индейцы, и это не считая работающих на каждом шагу нелегалов. Мексика видна за шоссе, как только чуть отъедешь от города. На самом деле между нами и нею еще вьется речка Рио Гранде, но речку не видно из-за забора. Виден холм, по нему рассыпаны разноцветные крошечные, нищие домики. А на нашей стороне небоскребы и виллы. Пограничная зона вся в дыму: это выбросы заводов, владельцам которых не выгодно строиться на американской стороне, где действует закон об охране окружающей среды. В Мексике такого закона нет.

Каждый день по широкому мосту из Мексики в Америку и обратно проходят и проезжают сотни людей. Некоторые живут в одной стране, а работают в другой; некоторые навещают родственников или знакомых; некоторые что-то закупают и продают; некоторые просто слоняются туда-сюда от скуки. Переход через мост стоит 25 центов. В Мексику можно пройти просто так, а при входе на американскую территорию спрашивают докумен-

ты. Говорят, еще год назад под мостом грязный и оборванный мальчишка перевозил всех, у кого нет документов, в Америку на автомобильной шине за несколько песо. Перебирались главным образом роженицы во время схваток, чтобы родить и зарегистрировать американца – и спокойно вернуться с ним домой, в Мексику. Но в последние месяцы американцы ужесточили пограничный контроль, а по берегам речки возвели забор. В отместку мексиканцы водрузили над речкой свой флаг такой величины, что если бы не Скалистые горы, его было бы видно из Нью-Йорка.

Как хорошо сбежать из равнодушного и чистенького – в цветастый и грязный мир! Переход по мосту – это магическое действие, потому что, сменяя страны, мы изменяем не пространство, а время. Пограничный Хуарес похож на большой русский провинциальный город в шестидесятые годы, только тут беднее. Всюду крытые шифером пивные и столовые, половина букв на вывесках висит вниз головой, больше не мигая синим мертвым электричеством. К липким лентам слетаются мухи, звенит стеклотара, по улицам бродят не цыгане, но очень на цыган похожие индейцы тарумара с окрестных гор.

Хуарес донашивает все с американского плеча: скрипят шевроле времен вьетнамской войны, на детях синтетические шапочки с розовыми петельками и старые кроссовки. Водители презирают дорожные знаки. Нищета идет рука об руку с весельем: в кафе во всю мощь играет музыка, на улицах обнимаются парочки, всюду громко разговаривают, хохочут и пьют. Вот одна из столовых, где мы обедаем в дни прогулок по Хуаресу. С потолка свисает стекловата, а из кухни идет такой дым, что ничего не видно. Пахнет потом, туалетом и жарящимся мясом. И трудно представить себе что-нибудь вкуснее здешнего зеленого перца чили, фаршированного сыром.

Вот площадь перед главным собором, построенным испанцами и долго заодно исполнявшим роль крепости. Тут всегда идет не то стрсительство, не то реконструкция, и всюду деревянные мостки вместо тротуара. Вокруг полно пьянчуг и воришек, но мне здесь легко и не страшно, гораздо легче, чем за мостом. Эта жизнь понятна, как понятно мое детство с битыми бутылками, смолистыми галошами и шапочками из акрила. У метро ВДНХ цыганский табор, возле выставки жарится шашлык, парни поют

блатные песни. Хочется побыть тут, но темнеет – пора переходить мост. Пограничник расплывается в доброй улыбке, спрашивает, нет ли у нас с собой спиртного. За каждую бутылку полагаются пошлины: алкоголь в Мексике дешевле, чем в США. У парапета стоит пьяный индеец и смотрит вниз, чтобы не кружилась голова. Впереди автостоянка, там машина. Захлопываем дверцы, включаем кондиционер, едем домой – в девяностые годы. Водители соблюдают правила движения, блестят новенькие автомобили, люди не пахнут, в туалетах можно устраивать выставки картин Ренуара. Шоссе поворачивает то в одну сторону, то в другую, нищие домишки и дым то появляются, то исчезают, как будто бы их и не было. Туда и обратно – с одной стороны моста на другую, из прошлого в настоящее, из правого полушария в левое. Мысли мешаются, голова идет кругом. А когда кончится головокружение, все встанет на свои места – или совсем исчезнет. Совсем, совсем исчезнет, повторяю я, вытаскивая из холодильника еще горсть креветок и вторую бутылку Negro Modelo.

АМЕРИКА

Все, что волновало меня в детстве, случилось в Европе. От путешествия Одиссея и гитлеровской агрессии до плача Ярославны на городской стене. Разве что два-три имени с другого континента: Эдгар По, Вашингтон Ирвинг или Марк Твен, но и тут были Альгамбра, король Артур и царство европейского мифа.

Встреча с Европой подтвердила мои подозрения о тождестве книги и жизни. На каждый камень имелось досье. Случайно всплывавшие кристаллы современной архитектуры и невольные американизмы в ежедневном обиходе только оттеняли узнавание, и кончилось тем, что в Копенгагене на улице Гавани я почувствовала такое же нежелание уходить с моста, какое бывало в детстве: не закрывай книгу, еще страничку, полстранички про Кая! – но мама гасит свет и уходит.

Многое просто теряло очарование из-за постоянного сличения: глядя на лазоревые ворота Богини Иштар в Британском музее, я не видела ничего, кроме картинки из учебника по истории для пятого класса.

Об Америке мы думали, что там только горизонт, ничего или все что угодно, и если умирание не было бы сопряжено с болью, таким могло быть ожидание смерти. Когда приземлялись, снова срослись легкие, и надо было крикнуть, чтобы разлепить их. С этим криком возникла и младенческая чистота восприятия, как будто Фолкнеры и Фицджеральды не прочитаны, по телевизору шли только “Голубые огоньки”, а американское кино снималось на студии Горького.

Первое потрясение свидетельствует в пользу сравнения приземления с роддомом: меня утробу на мир и меня Европу на Америку, мы меняем климат. Большая часть Америки сродни Африке, особенно летом. Приехав в Вашингтон, я не смогла постоять на улице и пяти минут в ожидании машины: перед глазами поплыли круги, и я ринулась обратно в прохладное здание аэропорта. Теперь понимаю, что ловушкой для меня было слово “Северная” в применении ко всему континенту, противопоставленное Южной. Так и в сочетании “Северная Африка” есть этот прохладительный смысл.

В увеличительном стекле жары появился Вашингтон, непрофессиональная подделка одновременно под Египет и Рим, мертвые белки на сухих газонах и сахарные муляжи Капитолия и Белого дома, две архитектурные цитаты из Зорина, и эту Америку, Америку черных и бездомных, не слышат за толстыми стенами те, кто правит бал, кому указ лишь воля биржевых магнатов, ЦРУ и военно-промышленного комплекса. Появились цитаты иного рода: скульптурные изображения первых мормонов в Юте могли бы дополнить коллекцию на станции метро “Площадь Революции”; Калифорнийское побережье кое-где напоминало сталинские курорты в Крыму; штат Мэн смахивал на Подмосковье. Цитатой был Бостон, вещица изящной работы, инкрустированная пейзажами старой Англии.

Но, несмотря на цитаты, преобладал новый текст.

Прекрасный кристалл Манхэттена. Необозримые выжженные поля. Горы, смахивающие на динозавров. Чистые коробочки заправок. Многоэтажные автостоянки и дороги. Старые челюсти центров, утыканые небоскребами.

Расстилающееся по всей земле предместье, где только гаражи, дома, сады, бассейны и плавящееся шоссе. В одном из таких предместий нам предстоит жить.

(“Дома американцев – это только пристройки к их гаражам”, – грустно заметил как-то Бертольд Брехт).

И всюду тени погибших индейцев, сказавших когда-то: Мы уходим, а вы наследуете землю. Она прекрасна, как алый цветок. Берегите ее, стирайте над ней ладони.

Одна версия гласит, что индейцы были убиты поселенцами. Другая – что их убили болезни, пустяковые для европейцев, невзначай завезенные из Старого Света: ветрянка, свинка, корь. Третья – что причина в организованных белыми переселениях многих племен из одного штата в другой: индейцы не вынесли разлуки с родными местами. Так или иначе, их нет; вернее, их – ничтожная горсть, их больше в крови латиноамериканцев, бегущих сюда из мира нищеты или диктатуры.

Латиноамериканцы растворяются в толпе добродушных арийцев, беспечных черных, маленьких азиатов, породистых евреев. Выучивают язык, раскатистую и певучую версию невнятного британского. Обживают игрушечные домики вблизи химически голубых водоемов.

Обживают ли? В голове роятся подозрения. Почему здесь нет запахов – травы, почвы, цветов? Ни грибных, ни болотных, ни земляных? Пока я сообразила, что в стране, где большинство штатов летом жаркие, зимой холодные, запахов меньше, чем в прохладном климате, что запахи чужой земли вообще трудно почувствовать в первый год пребывания в ней, прошло много месяцев страха.

Так боялись в 18 и 19 веке Петербурга. Может быть, вставляли тени замученных строителей. Пахло болотом. Говорили: не настоящий, нерусский. Вот-вот уйдет обратно в небытие. Об этом писали Пушкин и Гоголь, – но даже и Белый в 20 веке. Петербург грозил стихийными бедствиями.

Первые поселенцы в Америке плохо представляли себе, что такое торнадо на юге, морские ураганы на севере, ежегодные потопаы и снежные заносы. Они погибали от укусов многочисленных змей.

Количество стихийных бедствий в Америке поразительно. Как держится страна-мираж, почему не падают зеркальные башни ее банков? Как дышат люди среди зловещих пустот ее незастроенного пространства после тесного, уютного и соизмеримого с человеческой жизнью пространства Европы? Из машины, как из скафандра, как улыбаются друг другу?

Сначала были приступы удушья. Воображение увеличивало американский меркантилизм. Оглушал звон денег, однажды услышанный в зеленом казино. Раздражал лоск теледикторов. Президенты казались марионетками. Люди, для которых потеря работы страшнее несчастной любви – берут пушку и стреляют в босса – внушали ужас.

Но прошел век – или год. Привыкли к меркантилизму, к сырости Петербурга. Начали любить его мосты, проспекты. Даже видели в нем древность и историю.

Существует история и география Америки. После того, как поживешь здесь год-другой, начинаешь верить в то, что они настоящие. Небоскребы делятся на симпатичных и уродов. Нравится запах узколистного дуба и пальмы. Находишь людей, для которых Чехов дороже Достоевского, привыкаешь к чаю со льдом и детскому культу динозавров. Ну конечно, динозавры, а что же еще было до Колумба?

Вдруг становится понятно, что этого и хотел. Сбежать от мифов и истории старого Света, где кольцо Нибелунгов и золото скифов кончаются Майданеком и Колымой. Отдыхает память. Мозг свободен от намеков и ассоциаций. Обувь и жилье удобны, а красота не в соборах, а в дельфинах, водопадах и океанских пляжах. И трудно сказать точно, когда из одноразовых солнечных игл вливается этот наркоз. И сколько длится.

“Русские культурные идиомы”

– это увлекательно написанная история русской культуры, в которой объясняются смысл и происхождение ее основных понятий и формул.

Автор, известный московский поэт, а ныне профессор русской литературы в университете Бригама Янга Юлия Немировская так пишет о своей книге: “Я хотела, чтобы мои дети и студенты, выросшие в Америке, не только узнали о России все, что мне дорого и важно, но и узнали это через символические понятия и образы, такие как Град Китеж, Третий Рим, “обломовщина”, Белый дом России или криминальная революция”.

Книга дает ключ к пониманию русской классики, фильмов, телепередач, газетных и журнальных статей.

Отдельные главы посвящены доктринам и обрядам православия, древнему и современному искусству, литературе, музыке, нормам поведения, суевериям.

Книга написана по-русски с английскими примечаниями.

Объем – 550 страниц, 300 иллюстраций. Издательство McGraw-Hill. ISBN 0-07-012225-3.

Заказ по телефонам: 1-800-262-4729, 1-800-338-3987, ext.1-2.

РЕЙТИНГ КНИГ

*по результатам продаж магазинов США и Канады
(опрос проведен в Бостоне, Миллуоки, Монреале,
Нью-Йорке, Питтсбурге, Сан-Франциско, Филадельфии и Чикаго в конце ноября – начале декабря
1998 года)*

Современная русская проза и поэзия

- | | | | |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | В. Катанян | Прикосновение
к идолам | "Вагриус", М. 1998 |
| 2. | Э. Герштейн | Мемуары | СПб. 1998 |
| 3. | С. Волков | Диалоги
с Бродским | "Независимая газета", М.
1998 |
| 4. | А. Щеглов | Ф. Раневская.
Фрагменты
жизни | "Захаров", М. 1998 |
| 5. | Т. Толстая,
Н. Толстая | Сестры | "Подкова", М. 1998 |
| 6. | Г. Шпаликов | Я жил как жил | "Подкова", М. 1998 |
| 7. | Д. Рубина | Уроки музыки | "Гудьял Пресс", М. 1998 |
| 8. | Д. Самойлов | За третьим
перевалом | СПб. 1998 |
| 9. | И. Иртеньев | Ряд допущений | "Независимая газета", М.
1998 |
| 10. | В. Пелевин | Чапаев и Пустота | "Вагриус", М. 1996 |

Русский детектив

- | | | | |
|----|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. | А. Маринина | Реквием | "Эксмо", М. 1998 |
| 2. | А. Бушков | Возвращение
пираньи | "Олма Пресс", М. 1998 |
| 3. | Н. Леонов | Смерть
в прямом эфире | "Эксмо", М. 1998 |
| 4. | Д. Корецкий | Антикиллер-2 | "Эксмо", М. 1998 |
| 5. | Ф. Незнанский | Грязные игры | "АСТ", М. 1998 |

КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ

Борис Стругацкий

Эти мои заметки не могут представлять сколько-нибудь широкого интереса, и вряд ли можно рассматривать их как самостоятельный и самодостаточный текст.

Более того. Далеко не каждому читателю, пусть даже и поклоннику АБС, эти заметки будут интересны. В конце концов, кому какое дело, как именно задумывалась “Улитка на склоне” и какие перипетии претерпевала в процессе написания? Кто был прообразом Горбовского и откуда взялось название “Понедельник начинается в субботу”? Почему “Гадкие лебеди” существовали изначально как совершенно самостоятельное произведение, а потом, пятнадцать лет спустя, вдруг сделались содержанием “Синей папки”, романом в романе?..

Не думаю, чтобы меня самого в возрасте 15-20 лет заинтересовали бы вопросы такого рода применительно к обожаемому Г.Дж.Уэллсу или нежно любимому А.Р.Беляеву. Однако в возрасте 30-40 лет мне уже, помнится, было интересно знать, почему Г.Дж. так круто ушел вдруг от фантастики в суконный реализм и правда ли, что в творческой жизни А.Р.Беляева роковую роль сыграл ныне уже почти позабытый А.Р.Палей?

Так что определенный круг благосклонных читателей предлагаемых заметок обрисовывается: это, во-первых, фэны, фанаты, которых интересует ВСЕ, а во-вторых, - серьезные читатели, склонные копать глубоко и широко в поисках “золотой жилы смысла”.

Ни в коей мере не следует рассматривать эти заметки как “Воспоминания о пережитом” и тем более как мемуары ти-

па “Наша жизнь в литературе”. Для этого нет никаких оснований. Жизнь моя (да и АН, пожалуй) отнюдь не изобиловала - слава Богу! - ни увлекательными приключениями, ни загадочными событиями, ни социально значимыми поступками, ни - хотя бы - тесными контактами с великими людьми XX века. Поэтому мемуары мне писать просто не о ком и не о чем, и “Комментарии” эти вместе с “Примечаниями” суть не более, чем по возможности систематизированные заметки относительно написанного АБС за тридцать пять лет - то, что показалось мне (лично мне!) любопытным; или заведомо неизвестно широкой публике; или представляет собой ответы на вопросы читателей, накопившиеся за все эти годы.

“ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ”

Можно ли считать этот роман произведением о Светлом Будущем? В какой-то степени, несомненно, да. Но в очень незначительной степени. Вообще, в процессе работы над ним этот роман претерпевал изменения весьма существенные. Начинался он (на стадии замысла) как веселый, чисто приключенческий, мушкетерский:

1.02.62 - АН: “... Ты уж извини, но я вставил <в Детгизовский план 1964 года> “Седьмое небо”, повесть о нашем соглядатае на чужой феодальной планете, где два вида разумных существ. Я план продумал, получается острозубая штука, может быть и очень веселой, вся в приключениях и хохмах, с пиратами, конкистадорами и прочим, даже с инквизицией...”

Сама по себе идея “нашего соглядатая на чужой планете” возникла еще когда мы писали “Попытку к бегству”. Там мельком упоминается некто Бенни Дуров, который как

раз и работал таким соглядатаем на Тагоре. Идея промелькнула (не до того было), но не пропала бесследно. Теперь вот дошла очередь и до нее, хотя мы еще плохо себе представляли все возникающие здесь возможности и перспективы.

Почему название “Седьмое небо” отобрано было у ненаписанной повести о магах и оказалось передано не написанной же повести “о нашем соглядатае”, становится ясно из письма АН, большой отрывок из которого я не могу удержаться, чтобы здесь не воспроизвести, дабы читатель мог на конкретном примере представить себе, насколько первоначальные авторские планы и наброски способны отличаться от окончательного воплощения идеи. Даты на письме нет, относится оно, видимо, к середине марта 1963.

“...Существует где-то планета, точная копия Земли, можно с небольшими отклонениями, в эпоху непосредственно перед Великими географическими открытиями. Абсолютизм, веселые пьяные мушкетеры, кардинал, король, мятежные принцы, инквизиция, матросские кабаки, галены и фрегаты, красавицы, веревочные лестницы, серенады и пр. И вот в эту страну (помесь Франции с Испанией, или России с Испанией) наши земляне, давно уже абсолютные коммунисты, подбрасывают “кукушку” - молодого здоровенного красавца с таким вот кулаком, отличного фехтовальщика и пр. Собственно, подбрасывают не все земляне сразу, а скажем, московское историческое общество. Они однажды забираются к кардиналу и говорят ему: “Вот так и так, тебе этого не понять, но мы оставляем тебе вот этого парнишку, ты его будешь оберегать от козней, вот тебе за это мешок золота, а если с ним что случится, мы с тебя живого шкуру снимем”. Кардинал соглашается, ребята оставляют у планеты трансляционный спутник, парень по тамошней мо-

де носит на голове золотой обруч с вмонтированным в него вместо алмаза объективом телепередатчика, который передает на спутник, а тот - на Землю картины общества. Затем парень остается на этой планете один, снимает квартиру у г-на Бонасье и занимается тасканием по городу, толканием в прихожих у вельмож, выпитием в кабачках, дерется на шпагах (но никого не убивает, за ним даже слава такая пошла), бегаем за бабами и пр. Можно написать хорошо эту часть, весело и смешно. Когда он лазает по веревочным лестницам, он от скромности закрывает объектив шляпкой с пером.

А потом начинается эпоха географических открытий. Возвращается местный Колумб и сообщает, что открыл Америку, прекрасную как Седьмое Небо, страну, но удержаться там нет никакой возможности: одолевают звери, невиданные по эту сторону океана. Тогда кардинал вызывает нашего историка и говорит: помоги, ты можешь многое, к чему лишние жертвы. Дальше понятно. Он вызывает помощь с Земли - танк высшей защиты и десяток приятелей с бластерами, назначает им randevu на том берегу и плывет на галеонах с солдатами. Прибывают туда, начинается война, и обнаруживается, что звери эти - тоже разумные существа. Историки посрамлены, их вызывают на Мировой Совет и дают огромного партийного дрозда за баловство.

Это можно написать весело и интересно, как "Три мушкетера", только со средневековой мочой и грязью, как там пахли женщины, и в вине была масса дохлых мух. А подспудно провести идею, как коммунист, оказавшийся в этой среде, медленно, но верно обращается в мещанина, хотя для читателя он остается милым и добрым мальчиком..."

Не правда ли, это уже почти ТО, но притом же и не совсем; вроде бы ТО, а в некотором смысле даже и вовсе НЕ

ТО. Такого рода планы у АБС было принято называть “крепким основательным скелетом”. Наличие подобного скелета было необходимым (хотя и недостаточным) условием начала настоящей работы. По крайней мере в те времена. Позже появилось еще одно чрезвычайно важное условие: надо было обязательно знать, “чем сердце успокоится” - каков будет конец задуманного произведения, последняя пограничная вешка, к которой и надлежит тянуть линию сюжета. В начале 60-х мы еще не понимали, насколько это важно, а потому частенько рисковали и вынуждены были по ходу дела менять сюжет целиком. Как это и произошло с “Седьмым небом”.

“Крепкий основательный скелет” романа, предложенный АН, был без всякого сомнения хорош и обещал замечательную работу. Но, видимо, уже на ранней стадии обсуждения между соавторами возникли какие-то различия в подходах, еще за стол они не сели, чтобы взяться за работу, а уже возникла дискуссия, деталей которой я, разумеется, не помню, но общий ход ее можно проследить по отрывкам из писем АН. (Письма БН вплоть до 63-го года включительно, напоминая, утрачены - увы! - безвозвратно).

17.03.63 - АН: “... Всю программу, тобою намеченную, мы выполним за пять дней. Предварительно же мне хочется сказать тебе, бледнопухлый брат мой, что я за вещь легкомысленную - это о “Седьмом небе”. Чтобы женщины плакали, стены смеялись, и пятьсот негодяев кричали: “Бей! Бей” и ничего не могли сделать с одним коммунистом...”

Последняя фраза - слегка измененная цитата из любимой нами трилогии Дюма, а вообще-то речь идет, видимо, о том, в каком именно ключе работать новый роман. У БН есть какие-то свои соображения по этому поводу. Какие именно, можно догадаться из следующего отрывка.

22.03.63 - АН: "... О "Наблюдателе" (так я переименовал "Седьмое небо"). Если тебя интересует бьющая кругом ключом жизнь, то ты будешь иметь полную возможность вывалить свои внутренности в "Дни Кракена" и в "Магов". А мне хотелось создать повесть об абстрактном благородстве, чести и радости, как у Дюма. И не смей мне противоречить. Хоть одну-то повесть без современных проблем в голом виде. На коленях прошу, мерзавец! Шпаг мне, шпаг! Кардиналов! Портовых кабаков!..."

Вся эта переписка шла на весьма интересном внутривнутриполитическом фоне. В середине декабря 1962 года (точной даты не помню) Хрущев посетил выставку современного искусства в Московском Манеже. Науськанный (по слухам) тогдашним главою идеологической комиссии ЦК Ильичевым, разъяренный вождь, великий специалист, сами понимаете, в области живописи и изящных искусств вообще, носился (опять же по слухам) по залам выставки с криками: "Засранцы! На кого работаете? Чей хлеб едите? Пидарасы! Для кого вы все это намазали, мазилы?" Он топал ногами, наливался черной кровью и брызгал слюной на два метра. (Именно тогда и именно по этому поводу родился известный анекдот, в котором озверевший Никита-кукурузник, уставившись на некое уродливое изображение в раме, орет не своим голосом: "А это что за жопа с ушами?" На что ему, трепеща, отвечают: "Это зеркало, Никита Сергеевич...")

Все без исключения средства массовой информации немедленно обрушились на абстракционизм и формализм в искусстве, словно последние десять лет специально готовились, копили материал, того только и ждали, когда же им, наконец, разрешат высказаться на эту животрепещущую тему.

И это было еще только начало. "17 декабря в Доме при-

емов на Ленинских горах состоялась встреча руководителей Коммунистической партии и Советского правительства с деятелями литературы и искусства". Брежнев, Воронов, Кириленко, Козлов, Косыгин, Микоян, Полянский, Сулов, Хрущев и другие крупнейшие в стране литературоведы попеременно с искусствоведами в штатском собрались в одном месте, чтобы "высказать свои замечания и пожелания по вопросам развития литературы и искусства".

Соображения были высказаны. Пресса уже не ревела, она буквально выла. "КОМПРОМИССОВ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ"--"ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХУДОЖНИКА"--"СВЕТ ЯСНОСТИ"--"ОКРЫЛЯЮЩАЯ ЗАБОТА"--"ИСКУССТВО И ЛЖЕИСКУССТВО"--"ВМЕСТЕ С НАРОДОМ"--"НАША СИЛА И ОРУЖИЕ"--"ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ, ЕСТЬ ТАКОЕ ИСКУССТВО!"--"ПО-ЛЕНИНСКИ"--"ЧУЖИЕ ГОЛОСА"...

Словно застарелый нарыв лопнул. Гной и дурная кровь заливали газетные страницы. Все те, кто последние "оттепельные" годы попритих (как нам казалось), прижал уши и только озирался затравленно, как бы в ожидании немислимого, невозможного, невероятного возмездия за прошлое - все эти жуткие порождения сталинщины и бериевщины, с руками по локоть в крови невинных жертв, все эти скрытые и открытые доносчики, идеологические ловчицы и болваны-доброхоты, все они разом взвились из своих укрытий, все оказались тут как тут, энергичные, ловкие, умелые гены пера, аллигаторы пишущей машинки. МОЖНО!

Но и это было еще не все. 7 марта 1963 в Кремле "обмен мнениями по вопросам литературы и искусства" был продолжен. К знатокам изящных искусств добавились Подгорный, Гришин, Мазуров. Обмен мнениями длился два дня. Газетные вопли еще усилились, хотя, казалось, усиливать им было уже некуда. "ВЕЛИЧИЕ ПОДЛИННОГО ИСКУССТВА"--"ПО-ЛЕНИНСКИ!" (Уже было раньше, но теперь - с восклицательным знаком) "ФИЛОСОФИЯ ЗА-

ПАДНОГО ИСКУССТВА - ПУСТОТА, РАЗЛОЖЕНИЕ, СМЕРТЬ"--"ВЫСОКАЯ ИДЕЙНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО - ВЕЛИКАЯ СИЛА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА"--"НЕТ "ТРЕТЬЕЙ" ИДЕОЛОГИИ!"--"ТВОРИТЬ ВО ИМЯ КОМУНИЗМА"--"ПРОСЛАВЛЯТЬ, ВОСПЕВАТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ ГЕРОИЗМ"--"ТАК ДЕРЖАТЬ!" (Положительно, число восклицательных знаков нарастает) "ПОИСКИ В ПОЭЗИИ, ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ"--"СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД!"

*Солнце светит, но не греет, это не беда,
Разлилося половодье, полая вода.
К радости для каждого крупного скота
Оттепель настала, да не та!*

Это Юлий Ким откликнулся - немедленно и как всегда ядовито и безукоризненно точно:

*Полая вода, весенняя вода,
Мутная, беспутная, распутная вода..
Хватайте невода, бросайте кто куда,
Тащите, братцы, рыбку из пруда!*

Из всех магнитофонов, во всех интеллигентских кухнях звенели его куплеты, исполняемые нарочито приторным и даже ласковым голоском:

*Ах, какое времечко! Не времечко - мечта!
Как раскукарекали повсюду кочета!
Ведь такого пения, какое на дворе,
Я не слышал даже в "Октябре"!*

(Под кочетами здесь подразумеваются безусловно соратники и сподвижники В.Кочетова, тогдашнего главного ре-

доктора махрового просталинского журнала “Октябрь”, отъявленного сталиниста, антисемита и мракобеса, которого даже начальству приходилось время от времени одергивать, дабы сохранить приличия “в глазах международного рабочего движения”).

Начали с художников-модернистов - с Фалька, Сидура, Эрнста Неизвестного, а потом никто и ахнуть не успел, а уже взялись и за Эренбурга, за Виктора Некрасова, за Андрея Вознесенского, за Александра Яшина и за фильм “Застава Ильича”. И уж все, кому не лень, прошлись ногами по Аксенову, Евтушенко, Сосноре, Ахмадулиной и даже - но вежливо, с реверансами! - по Солженицыну. (Солженицын все еще оставался в фаворе у Самого. Но вся остальная свита, боже ж мой, как все они его ненавидели и боялись! Милостив царь, да немилостив псарь).

Во благовремение гнойная волна докатилась и до нашей околицы, до тихого нашего цеха фантастов. 26 марта 1963 состоялось расширенное совещание секции научно-фантастической и приключенческой литературы Московской писательской организации. Присутствовали: Георгий Тушкан (председатель секции, автор ряда приключенческих произведений и НФ-романа “Черный смерч”), А.П.Казанцев, Георгий Гуревич, Анатолий Днепров, Роман Ким (автор повестей “Тетрадь, найденная в Сунчоне”, “Девушка из Хиросимы”, “По прочтении сжечь”), Сергей Жемайтис (заведующий НФ-редакцией в “Молодой гвардии”), Евгений Павлович Брандис и многие другие. Вот характерный отрывок из подробного отчета АН по этому поводу:

“... И вот тут началось самое страшное. Выступил Казанцев. Первая половина его выступления была целиком посвящена Альтову и Журавлевой. Вторую я уже не слушал, потому что мучился, не зная, как поступить. Вот тезисы того, что он говорил. Альтовское направление в фантастике, слава богу, так и не получило развития. И это не удивительно, потому что в массе советские фантасты - люди идей-

ные. Альтов на совещании в 58 году обвинял “нас с Днепровым” в том, что мы (Днепров и он, Казанцев) присосались к единственной, всем надоевшей теме - столкновение двух миров. Нет, товарищ Альтов, эта тема нам не надоела, а вы - безыдейный человек (стенографистки пишут наперебой. Вообще все стенографировалось). В “Полигоне “Звездная река” Альтов выступает против постулата скорости света Эйнштейна. Но в тридцатых годах фашисты мучили и преследовали Эйнштейна именно за этот постулат. Все вещи Альтова так или иначе играют на руку фашизму (стенографистки пишут! Не думай, я не преувеличиваю, мне самому казалось, что я во сне). Мало того, все вещи Альтова так далеки от жизни, настолько пусты и лишены жизненного содержания, что можно смело назвать его абстракционистом в литературе, это мазила, дегтемаз и прочее.

Дальше я не слушал. У меня холодный пот выступил. Все сидели, как мертвые, уставясь в стол, никто ни звука не проронил, и вот тогда я понял, что в первый раз в жизни столкнулся с Его Величеством Мстящим Идиотом, с тем, что было в 37-м и 49-м. Выступить с протестом? А если не поддержат? Откуда мне знать, что у них за пазухой? А если это уже утверждено и согласовано? Трусость мною овладела страшная, да ведь и не даром, я же боялся и за тебя. А потом я так рассвирепел, что трусость исчезла. И когда Казанцев кончил, я заорал: Разрешите мне! Тушкан, недовольно на меня поглядев, сказал: “Ну что вам, ну говорите”.

Стругацкий: При всем моем уважении к Александру Петровичу я решительно протестую. Альтова можно любить и не любить, я сам его не очень люблю, но подумайте, что вы говорите. Альтов - фашист! Это же ярлык, это же стенографируется, мы не в пивной сидим, это черт знает что, это просто непорядочно! (Это я помню, но я еще что-то нес, минут на пять).

Секунда мертвой тишины. Затем железный голос Толи Днепров: - Я со своей стороны должен заявить, что не

слыхал, чтобы Альтов обвинял меня в пристрастии к теме борьбы двух миров. Он обвинял меня в том, что действующие лица у меня не люди, а идеи и машины. Ким: - И не абстракционист он никакой. Наоборот, когда был у меня и увидел картину такого-то, очень ее ругал.

Затем все зашумели, заговорили, Казанцев начал объяснять, что он хотел сказать, а я трясся от злости и больше ничего не слыхал. И когда все закончилось, я встал, выругался (матом, кажется) и сказал Голубеву: пойдём отсюда, здесь ярлыки навешивают. Громко сказал. Мы пошли вниз, в кабак, и там выдули бутылку настойки какой-то.”

Вот теперь уже, кажется, всем без исключения сестрам было, наконец-то, выдано по серьгам.

Впрочем, никого не посадили. Никого даже не исключили из Союза Писателей. Более того, посреди гнойного потока разрешили даже построить две или три статьи с осторожными возражениями и изложением своей (а не партийной) точки зрения. Возражения эти тотчас же были затоплены и затоптаны, но факт их появления уже означал, что намерения бить насмерть у начальства нет.

И вот уже сам величайший советский драматург Анатолий Софронов (на коем пробы, извините, негде поставить) высокомерно успокаивает перепугавшихся: “Сейчас кое-кто высказывает опасения: как бы не было перегибов, как бы не “зажали” кого-то и т.д. Да не “зажмут”, не надо бояться. У нас Советская власть добрая, партия у нас добрая, человечная. Работать надо честно, добросовестно, тогда будет все в порядке.”

Но нам было не столько страшно, сколько тошно. Нам было мерзко и гадко, как от тухлятины. Никто не понимал толком, чем вызван был этот стремительный возврат на гноище. То ли власть отыгрывалась на своих за болезненный щелчок по носу, полученный совсем недавно во время Карибского кризиса. То ли положение в сельском хозяйстве еще более ухудшилось, и уже предсказывались на ближай-

шее будущее перебои с хлебом (каковые и произошли в 1963-м). То ли просто пришло время показать возомнившей о себе “интеллигузии”, кто в этом доме хозяин и с кем он - не с Эренбургами вашими, не с Эрнстами вашими Известными, не с подозрительными вашими Некрасовыми, а - со старой доброй гвардией, многожды проверенной, давным-давно купленной, запуганной и надежной.

Можно было выбирать любую из этих версий или все их вместе. Но одно стало нам ясно, как говорится, до боли. Не надо иллюзий. Не надо надежд на светлое будущее. Нами управляют жлобы и враги культуры. Они никогда не будут с нами. Они всегда будут против нас. Они никогда не позволят нам говорить то, что мы считаем правильным, потому что они считают правильным нечто совсем иное. И если для нас коммунизм - это мир свободы и творчества, то для них коммунизм - это общество, где население немедленно и с наслаждением исполняет все предписания партии и правительства.

Осознание этих простых, но далеко для нас не очевидных тогда истин было мучительно, как всякое осознание истины, но и благотворно в то же время. Новые идеи появились и настоятельно потребовали своего немедленного воплощения. Вся задуманная нами “веселая, мушкетерская” история стала смотреться совсем в новом свете, и БН не потребовалось долгих речей, чтобы убедить АН в необходимости существенной идейной коррекции “Наблюдателя”. Время “легкомысленных вещей”, время “шпаг и кардиналов”, видимо, закончилось. А может быть, просто еще не наступило. Мушкетерский роман должен был, обязан был стать романом о судьбе интеллигенции, погруженной в сумерки средневековья.

Из дневника АН: "...12-16 <апреля 1963> был в Ленинграде. <..> Составили приличный план "Наблюдателя" (бывш. "Седьмое небо")..."

13.08.63. "... В июне написано "Трудно быть богом". Сейчас колеблемся, неизвестно, куда девать. В Детгиз не возьмут. М.б. попробовать в "Новый мир"?"

В "Новый мир" давать мы так и не попробовали, но вот в толстый журнал "Москва" попытались. Безрезультатно. Рукопись была нам оттуда возвращена с рецензией, помнится, снисходительно отрицательной - "Москва", оказывается, фантастики не печатает.

Вообще, роман вызвал разноречивые отклики у читающей публики. В особенности озадачены были наши редакторы. В этом романе все им было непривычно, и масса пожеланий (вполне дружеских, между прочим, а вовсе не злобно-критических) было высказано. По совету И.А.Ефремова мы переименовали министра охраны короны в дона Рэбу (раньше он у нас был дон Рэбия - анаграмма, слишком уж незамысловатая, по мнению Ивана Антоновича). Более того, нам пришлось основательно поработать над текстом и добавить целую большую сцену, где Арата Горбатый требует у героя молнии и не получает их. Поразительно, что роман этот прошел через все цензурные рогатки без каких-либо особых затруднений. То ли тут сыграл роль либерализм тогдашнего "молодогвардейского" начальства, то ли точные действия замечательного редактора нашего, Белы Григорьевны Ключевой, а может быть, дело было вовсе в том, что шел некий откат после недавней идеологической истерики - враги наши переводили дух и благодушно озирали вновь захваченные ими плацдармы и уголья.

Впрочем, по выходе книги реакция определенного рода последовала незамедлительно. Пожалуй, это был первый случай, когда по Стругацким ударили из крупных калибров. Академик АН СССР Ю.Францев обвинил авторов в абстракционизме и сюрреализме, а почтенный собрат по перу В.Немцов - в порнографии. К счастью, это были пока еще времена, когда разрешалось отвечать на удары, и за нас в

своей блестящей статье “Миллиарды граней будущего” заступился И.Ефремов. Да и политический градус на дворе к тому времени поуменьшился. Словом, обошлось. (Идеологические шавки еще иногда потягивали на этот роман из своих подворотен, но тут подоспели у нас “Сказка о Тройке”, “Хищные вещи века”, “Улитка на склоне” - и роман “Трудно быть богом” на их фоне вдруг, неожиданно для авторов, сделался даже неким образцом для подражания. Стругацким уже выговаривали: что же вы, вот возьмите “Трудно быть богом” - ведь можете же, если захотите, почему бы вам не работать и дальше в таком ключе?..)

Роман, надо это признать, удался. Одни читатели находили в нем мушкетерские приключения, другие - крутую фантастику. Тинэйджерам нравился острый сюжет, интеллигенции - диссидентские идеи и антитоталитарные выпады. На протяжении доброго десятка лет по всем социологическим опросам роман этот делил первое-второе рейтинговое место с “Понедельником”. На сегодняшний день (октябрь 1997 года) он вышел в России общим тиражом свыше 2 миллионов 600 тысяч экземпляров, и это не считая советских изданий на иностранных языках и на языках народов СССР. А среди зарубежных изданий он до сих пор занимает прочное второе место сразу за “Пикником”. По моим данным, он вышел за рубежом 34-мя изданиями в семнадцати странах, в том числе: в Болгарии (4 издания), Испании (4), ФРГ (4), Польше (3), ГДР (2), Италии (2), США (2), Чехословакии (2), Югославии (2) и т.д.

“ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ”

Повесть о магах, ведьмах, колдунах и волшебниках задумана была нами давно, еще в конце 50-х. Мы совершенно не представляли себе сначала, какие события будут там происходить, знали только, что героями должны быть пер-

сонажи сказок, легенд, мифов и страшилок всех времен и народов. И все это - на фоне современного научного института со всеми его онерами, хорошо известными одному соавтору из личного опыта, а другому - из рассказов многочисленных знакомых-научников. Долгое время мы собирали шуточки, прозвища, смешные характеристики будущих героев и записывали все это на отдельных клочках бумаги (которые потом, как правило, терялись). Реального же продвижения не происходило: мы никак не могли придумать ни сюжета, ни фабулы.

А практически все началось с дождливого вечера на Кисловодской Горной станции, где дружно изнывали от скуки два сотрудника Пулковской обсерватории - м.н.с. Б.Стругацкий и старший инженер Лидия Камионко. На дворе стоял октябрь 1960 года. БН только что прекратил труды свои по поискам места для Большого Телескопа в мокрых и травянистых горах Северного Кавказа и теперь ждал, пока закончатся всевозможные формальности, связанные с передачей экспедиционного имущества, списанием остатков, оформлением отчета и прочей скукотищей. А Л.Камионко, приехавшая на Горную станцию отлаживать какой-то новый прибор, отчаянно бездельничала по причине полного отсутствия погоды, пригодной для астрономических наблюдений. И вот от скуки принялись они как-то вечером сочинять рассказик без начала и конца, где был такой же вот дождь, такая же тусклая лампа на шнуре и без абажура, такая же сырая веранда, заставленная старой мебелью и ящиками с оборудованием, такая же унылая скука, но где при всем при том происходили всякие забавные и абсолютно невозможные вещи - странные и нелепые люди появлялись из ничего, совершались некие магические действия, произносились абсурдные и смешные речи, и кончалась вся эта четырехстраничная, вполне сюрреалистическая абракадабра замечательными словами: “ДИВАНА НЕ БЫЛО!!!”.

Домой БН возвращался через Москву с заездом к брату-соавтору и там, в кругу семьи, зачитал вслух эти брульоны, вызвавшие дружный смех и всеобщее одобрение. Впрочем, тогда все на том и закончилось; нам и в голову не пришло, что таинственно исчезнувший диван - это на самом деле сказочный диван-транслятор, а разные странные типы, описанные там же, - это маги, которые за названным транслятором гоняются. Все шло своим чередом, впереди был еще не один год размышлений и самонастройки.

Замечательно, но история написания “Понедельника...” совершенно вылетела из моей памяти. Вылетела до такой степени, что сейчас, перечитывая разрозненные строчки из писем и дневников, я ловлю себя на том, что не всегда понимаю, о чем там идет речь.

19.03.61 - АН: “...Ты зря взялся сейчас за Восьмое небо...”

(Странность номер один. “Восьмое небо” - это одно из самых ранних условных названий “Понедельника”. Но неужели же я “взялся за него” так рано - в марте 61-го? Сегодня это представляется мне совершенно невозможным.)

23.07.61 - АН: “... что, если нам попробовать <..> добить “Магов”? Если не более 4-х листов - вышло бы очень неплохо. ...”

4.08.61 - АН: “...Соображения по “Магам”. Не знаю. Это должна быть небольшая веселая вещица. Листа три от силы. Три части. Первая написана...”

(Странности номер два и три. Как так - “добить “Магов”?! Значит ли это, что у нас уже есть нечто готовое, которое остается теперь только “добить”? И в каком смысле - “первая написана”? По-моему, так ничего у нас тогда еще

не было написано, даже в черновом варианте... Странно, странно...)

“... Вторая. Герой уверен, что теперь его маги оставят в покое. Но весь день, куда бы он ни пошел, маги преследуют его а ля секретарь Прыща. Они жалобно высовываются из стен и канализационных люков, делают ему непонятные знаки, мешают ему на свидании с девушкой и с тоскливым воем улетают, когда он начинает свирепеть. Серость и неграмотность их приводит в изумление. Мага легко отличить от прочих людей, спросив их таблицу умножения на семь. На Земле собрались маги со всех концов Вселенной. Им нужен Белый тезис, утраченный в незапамятные времена, - его спрятали в какое-то дерево, потом он перешел в мастерской в диван, а потом в нашего героя...”

И так далее.

(Кто такой Прыщ? О чем вообще речь? Однако, написано у нас было к этому моменту что-нибудь или не было написано ничего, но ясно, что будущий “Понедельник” смотрелся в начале своем совсем иначе, чем в конце).

1.11.62 - АН: “... Я вставил нас в план Детгиза на 64-й год под названием “Седьмое небо”. Название пока не обязательное, но книжечку надо бы написать. Про магов. Легкомысленную. Веселенькую. Без затей. А? Мечта! А? “... Выступал в Политехническом музее совместно с Андреевым, Громовой, Днепровым, Полецуком, Парновым и Емцовым. <..> Я с амвона как трахнул: “Нужно будет - про ведьм и колдунов напишем, нам наука не указ.” Что тут было! Хохот, аплодисменты, негодование!..”

Я сильно подозреваю, что к этому моменту у нас всего-то и было в заглавнике, что Кисловодский брульон, перера-

ботанный и развернутый до размеров будущей главки из “Суеты...” Но вот, наконец:

Дневник АН, 6.09.63: “Приезжал Борис, кое-что переделали в ТББ, составили план на “Суету вокруг дивана” <..>

Дневник АН, 18.01.64: “26 декабря <1963> вернулся из Л-да. Написали “Суету вокруг дивана” <..>

Наконец-то! Первая часть будущей повести образовалась - не прошло и трех лет. Однако до полного текста было еще далеко. Сохранилось довольно много заметок, набросков, хохмочек и идей того времени.

“Человек - это животное, которое может стать магом. Волк рождается волком и всю жизнь остается волком. Свинья рождается свиньей и всю жизнь остается ею. Человек рождается обезьяной, но вырасти он может волком, свиньей и магом”.

“Директор института - оборотень Кир Янус. Он может растраиваться. <..> Отец, сын и дух святой”.

“Контраст - заставляют магов заниматься ерундой: собрания, поездки в колхоз”.

“Бухгалтерия, где берегут копейку (а не миллионы и не время)”.

“Маги страшно хотят сделать всех людей счастливыми. Основная сюжетная линия - работа отдела Счастья. ИДЕЯ: нельзя обрушить благосостояние на головы нынешних людей. А ДЛЯ НИХ (магов, - Ред.) - ЭТО САМОЕ ЛЕГКОЕ.”

“Отдел Счастья и Довольства. Там все время получает-ся не то, что задумано”.

“Отдел Цирковой Техники”. Исторически институт сложился как НИИЦИРТЕХ. Об этом вспоминают с благоговением, и до сих пор образцом служит отдел Циртех. (Аналогия с астрометрией)”

“Показать, как мешает работать догматическая, все подавившая официальная теория”.

И так далее. “Понедельника...” еще нет, авторы только нащупывают пути к нему, но это - верные пути. Дело идет на лад. И идет быстро.

Дневник АН, 25 июня 1964: “...Май провел в Л-де, где писали и написали остальные две части СВД - “Ночь перед рождеством” и “О времени и о себе”...”

Обратите внимание на чехарду с названиями. Авторы еще не знают, как должны называться части новой повести да и сама повесть тоже. А между тем, название “Понедельник начинается в субботу” к тому времени уже существовало. Это название имеет свою историю, и довольно забавную.

Надо сказать, что начало 60-х было временем повального увлечения Хемингуэем. Никого не читают сейчас с таким наслаждением и восторгом, ни о ком не говорят так много и так страстно, ни за чьими книгами не гоняются с таким азартом, причем все - вся читающая публика от старшеклассника до академика включительно. И вот однажды, когда БН сидел у себя на работе в Пулковской обсерватории, раздался вдруг звонок из города - звонила старинная его подруга Наташа Свенцицкая, великий знаток и почитатель (в те времена) Хемингуэя. “Боря, - произнесла она со

сдержанным волнением. - Ты знаешь, сейчас в Доме Книги выбросили новый томик Хэма, называется “Понедельник начинается в субботу”...” Сердце БН тотчас подпрыгнуло и сладко замлело. Это было такое точное, такое подлинно хемингуэевское название - сдержанно грустное, сурово безнадежное, холодноватое и дьявольски человеческое одновременно... Понедельник начинается в субботу, это значит - нет праздника в нашей жизни, будни переходят снова в будни, серое остается серым, тусклое - тусклым... БН не сомневался ни секунды: “Брат! - гаркнул он. - Брат сколько дадут. На все деньги!...” Ангельский смех был ему ответом...

Шутка получилась хороша. И не пропала даром, как это обычно бывает с шутками! БН сразу же конфисковал прекрасную выдумку, заявив, что это будет замечательное название для будущего замечательного романа о замечательно безнадежной любви. Этот роман никогда не был написан, он даже никогда не был как следует придуман, конфискованное название жило в записной книжке своей собственной жизнью, ждало своего часа и через пару лет дождалось. Правда, АБС придали ему совсем другой, можно сказать, прямо противоположный, сугубо оптимистический смысл, но никогда потом об этом не жалели. Наташа тоже не возражала. По-моему, она была даже в каком-то смысле польщена.

Таким образом, историческая справедливость требует, чтобы было воздано по заслугам двум замечательным женщинам, бывшим сотрудницам Пулковской обсерватории, стоявшим у истоков самой, видимо, популярной повести АБС. Исполать вам, дорогие мои, - Лидия Александровна Камионко, соавтор знаменитой, сюжетообразующей фразы “ДИВАНА НЕ БЫЛО”, и Наталия Александровна Свенцицкая, придумавшая этот бесконечно грустный, а может быть, наоборот, радостно оптимистический афоризм “Понедельник начинается в субботу”!

Вообще, “Понедельник” в значительной степени есть капустник, результат развеселого коллективного творчества. “Нужны ли мы нам?” - такой лозунг действительно висел в одной из лабораторий, кажется, ГОИ. “Вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим” - гениальный стих моего старого друга Юры Чистякова, великого специалиста по стихосложению в манере капитана Лебядкина. “Мы хотим построить дачу. Где? Вот главная задача...” - стишок из газеты “За новое Пулково”. И т.д., и пр., и т.п.

В заключение не могу не отметить, что цензура не слишком трепала эту нашу повесть. Повестушка вышла смешная, и придирки к ней тоже были смешные. Так, цензор категорически потребовал выбросить из текста какое-либо упоминание о ЗИМе. (“Вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим”). Дело в том, что в те времена Молотов был заклеямен, осужден, исключен из партии, и автомобильный завод его имени был срочно переименован в ГАЗ (Горьковский автомобильный завод), точно так же как ЗИС (завод имени Сталина) назывался к тому времени уже ЗИЛ (завод имени Лихачева). Горько усмехаясь, авторы ядовито предложили, чтобы стишок звучал так: “Вот по дороге едет ЗИЛ, и им я буду задавим”. И что же? К их огромному изумлению, Главлит охотно на этот собачий бред согласился. И в таком вот малопрстойном виде этот стишок издавался и переиздавался неоднократно.

Многое тогда нам не удалось спасти. “Министра государственной безопасности Малюту Скуратова”, например. Или строчку в рассказе Мерлина: “Из озера поднялась рука, мозолистая и своя...” Еще какие-то милые пустячки, показавшиеся кому-то разрушительными...

Окончание следует.

В МОЕЙ ОСТАВЛЕННОЙ РОССИИ

Д.А.Пригов

Предуведомление

Что значит “оставленная Россия”? Конечно, это просто фигура речи, но и реальность, реальность тоже. Она всегда оставлена. Т.е. она в ускользании, становлении, постижении, отплывании, изменении, неузнавании, скольжении, мерцании, пропадании и переодевании, отменении и возникновении, отчуждении и прирождении, в придвижении к самому лицу и исчезновении в провалах метафизических, в жестком утверждении и в мгновенной смене половой идентификации, в утверждении иерархических структур и в рассыпании взаимоконвертируемых монадоподобных образований, и в долгом-долгом, призывно звучащем и пугающе-отчужденном, призывающем и овладевающим голосе и звуке: Ооооо

* * *

В моей оставленной России
Все, помню, кто-то замерзал
Вечно,ходишь в первый зал
Перронный
А там они уже синие
Лежат
Но были и другие, жаркие
Горящие на пол-бегу
Я в памяти их берегу
Благородных –

Студенческие лишь тужурки
Набросят
На страшном морозе
И – бегом

* * *

В моей оставленной России
Все правильно, да все не так
Как надо
Было
Но было вечно и красиво
И каждый дом тебе – верстак
Нового осуществления
Пусть и неосуществимого
Но и осуществлялось многое
Таинственное
Что сразу и не назовешь –
Двуногое или треногое
Многоногое ли
Или крылатое, как еж
Постигаемый только по факту

* * *

В моей оставленной России
Я помню, яблони, сирень
Цвели
Невыносимые, красивые
В виду советских деревень
Трогательных
По тем временам
И, помню, вертикальный столб

Пыли
Змеясь ходил от дома к дому
И все тогда гадали: Сто!
Двести, быть может! – и истому
Непозволительную по тем временам
Чувствовали

* * *

В моей оставленной России
Тюрбаны пестрые носили
И говорили: Зуму! Вая! –
Под этим подразумевая
Вполне определенное
И выходил Михал Потапович
С кавказской зоркостью в глазах:
И говорил, примерно: Ззззах! –
И всё откатывалось напрочь
Еще порядка на два

* * *

В моей оставленной России
В те баснословные года
Я, помню, юбки девушки носили –
Их фестивальные тогда
Называли –
Как колоколом вниз стоящие
Ну, а под ними – настоящие
В смысле, живые и манящие
Ноги

* * *

В моей оставленной России
Ну, что ни поднеси – подряд
Все пламенем сгорало синим
Невидимым
Преобразуясь в октябрят
Вечных
Которые со свечкой тонкой
Во храм входили на крови
Всякий
И походили на гусенка
То на ягненка, то на свиненка
То на кристаллики любви
Не могущие быть материализованными

* * *

Все то, о чем вы здесь просили
Все это есть, но в виде мании
В моей оставленной России
В моей оставленной Германии
Когда они переплетаясь
Как изреченные растенья
Плерому в самом средостенье
Своем
Рождая, разом покрываясь
Метафизическим потом

* * *

В моей оставленной России
Такого не сказали б мне

Я в славе был и тихой силе
По всей невидимой стране
Во всех ее измерениях
Там мало кто бы мог посметь
Пожалуй, никто
Сказать подобное
И что с того мне, что ты – Смерть!
Там бы ты со мной по-другому заговорила
Да и я с тобой говорил бы по-другому

* * *

В моей оставленной России
Шел снег и дождь, и сыпал град
И зайцев косами косили
И крупный яблоч-виноград
Созревал по садам
А тут какие-то косые
И кривые
И некий говор: Аспи! Ной!
Нет, это не моя Россия!
Ее у Бога за спиной
Подменили

* * *

В моей оставленной России
Все вечно как бы на бобах
Черных
Постойте, вот придет Василий!
Условно, Василий –
Говорили
Все быстро как на Або Бах

Станет на свои места
Ну вот, таки пришел Василий
И что же сталося в России –
Все стало на свои места
Но уже новые
Неведомые
Даже им самим

* * *

В моей оставленной России
В ее крутые времена
Мы были малы и пассивны
Ну, не то, чтобы уж совсем пассивны
Но в достаточной степени
Что забывали имена
И, может, к лучшему оно
Да, но какие имена? –
Собственные!

* * *

В моей оставленной России
Все что-то как-то как алмаз
Адамант небесный
Бывало
Но по живым следам крысиным
Мы их опознавали враз
И тихо отползали к краю мы
Но были враз опознаваемы
Как опознавшие
Со всеми последующими последствиями.

Netscape - [Чертовы Кулички] [] [] [X]

File Edit View Go Bookmarks Options Directory Window Help

Back Forward Home Edit Reload Images Open Print Find

Go to: [v] [N]

What's New? What's Cool? Destinations Net Search



Чертовы Кулички

это совсем близко

<http://kulichki.rambler.ru>

По мнению авторитетного американского журнала
"Wired" (<http://www.wired.com>)
"Чертовы Кулички" –
самый популярный российский сервер.



Document Done



Из цикла

COMPELLE INTRARE

Рассказы

Евгений Сельц

КОГДА ВЕРНЕТСЯ МАЛЕНЬКИЙ БОЖОК

Я надеюсь, что после моей кончины к трудам моим отнесутся с большим почетом и доверием, чем отнеслись тогда, когда я был жив.

Нострадамус. Послание Генриху II

Быть однофамильцем великого человека нелегко. Как ни крути, а такой факт ко многому обязывает. Впрочем, все зависит от времени и места.

Лиор Григ родился в стране дилетантов, и его замечательная фамилия никак не отягощала ему общение с окружающим миром. Разве что мать, которая мечтала, чтобы сын стал музыкантом, постоянно напоминала ему о великом норвежском композиторе. В детстве Лиор засыпал исключительно под “Песню Сольвейг”.

Эта песня запала ему в душу одновременно с первыми впечатлениями от мира, с первыми чувствами к матери, отцу, старшему брату и старому ротвейлеру Джакобу. Впоследствии при любом воспоминании о детстве, о родном доме в Нетании, которого давно уже не существует, память Лиора независимо от его желания воскрешала в сердце этот трагический напев слепой состарившейся девушки.

“Спи, мой милый! – пела Сольвейг голосом матери. – Я буду охранять твой сон. Я так долго тебя ждала, и ты пришел ко мне...”

В своем предпоследнем (уже звуковом) письме к брату Лиор Григ сказал об этой песне следующие слова:

“Она преследовала меня всю жизнь. С этой пронзительной мелодией я просыпался по утрам, с нею же засыпал. Даже в мучительные часы бессонницы, которая, как ватой, обложила меня с юных лет, в моем мозгу звучала эта песня. Те слова Сольвейг, которые выпевала мать у моей колыбели, на иврите звучали пародийно. Это я понял будучи уже взрослым человеком. Музыка Грига не требует слов Ибсена. Этот перевод, очевидно, сделал один из наших многочисленных полупрофессионалов-поденщиков, которые, всю жизнь просидев под своими пальмами, тоннами перерабатывают айсберги Гамсуна и Сведенборга в пресную воду. Но из этой песни я уже не могу выкинуть ни слова. Что записано детством, стирается только смертью...”

Старший брат Лиора Эди Григ был архитектором. Он, в отличие от младшего брата, довольно органично вписался в израильскую действительность шестидесятых годов. Закончив архитектурный факультет в Сорбонне, Эди поначалу занимался индивидуальными проектами – строил виллы и бассейны, ротонды и террасы. Но со временем пришел к выводу, что массовое строительство предпочтительней, поскольку не так обязывает. Он перешел на государственную службу и стал строить целые районы и даже города. Благо в этой стране городом мог считаться небольшой квартал из десятка-другого домов. Города Эди были похожи друг на друга одним неизменным качеством: все они были одинаково безлики.

В общем, старший брат стал архитектором-графоманом. Проекты выходили из-под его руки с курьерской скоростью. Эди был относительно богат и счастлив.

Лиор представлял собой полную противоположность старшему брату. Он также учился в Сорбонне на архитектурном факультете, но затем перешел на историко-филологический. Если старшего брата интересовало будущее, то младшего – прошлое. Если старший всегда думал о прагматической перспективе, то младший все время искал перс-

пективу духовную. Если старший жил благополучной, сытой, оседлой жизнью, то младший все время скитался. Если старший испытывал полное удовлетворение от своего существования, то младший был глубоко разочарован жизнью, что, правда, не мешало ему испытывать иногда мгновения самого высокого просветления.

Лиор не вписывался ни в какую среду, кроме интерьера китайского домика. Он был небольшого роста, худощав, черноволос. Его смуглое лицо (родители – выходцы из Марокко) имело какой-то желтоватый оттенок. Глаза были расставлены широко и почти всегда полуприкрыты. Нос у Лиора был маленький, приплюснутый.

Большинство приятелей по университету относились к нему с насмешкой или пренебрежением. Его идеи поднимались на смех, его увлечение китайским языком считалось глупостью. Его называли чудаком и придурком (чудаком реже). Такое отношение к себе он встречал везде, где бы ни появлялся. Может быть, именно потому, что везде он появлялся с одними и теми же навязчивыми речами о строительстве китайского домика.

Уезжая в Париж, 21-летний Лиор уже знал, что больше домой не вернется. Он уже знал, что больше не увидит ни мать, ни отца. Поэтому прощание было тяжелым.

Мать чувствовала, что “маленького Грига” – так она называла сына в довольно частые минуты просветленной нежности – что-то гнетет. Но не могла понять, что именно.

А Лиор уже ощущал в себе смутные силы, он уже понимал, что эти силы уведут его в иной мир, в котором ни матери, ни отцу не будет места.

Из университета Лиор вышел основательно образованным человеком – специалистом по восточной филологии и древнекитайской архитектуре. Отказавшись от предложения брата приехать в Израиль и создать совместную проектную компанию, Лиор ринулся в Юго-Восточную Азию. Семь лет провел он в отдаленных китайских провинциях и

построил там два китайских домика. Один из них был разрушен селевым потоком, другой сожгли местные крестьяне, возмущенные наглým вторжением иностранца на их территорию.

Затем два с половиной года Лиор бродил по Японии и Южной Корее. Потом перебрался в Колумбию, где снова построил китайский домик, был арестован, попал в тюрьму и ослеп. И, наконец, он оказался в Восточной Африке, где и закончил свой странный жизненный путь, достигнув, как считает его брат Эди, поставленной цели.

Эди регулярно снабжал Лиора деньгами, где бы тот ни находился. Старшему брату доставляло удовольствие заботиться о младшем. Он беспрестанно звал его в Израиль, но в глубине души считал, что любить брата на расстоянии гораздо удобнее. Он не ощущал в себе особенной привязанности к Лиору, но думать о том, что где-то по свету странствует родственная душа, было приятно.

В детстве братья не были близки. Разница в возрасте – Эди был старше Лиора на семь лет – разводила их интересы, как лезвия ножниц. Да и характеры у них были настолько разные, что не оставляли никакой надежды на единомыслие, будь они даже близнецами. Лиор был маминим сыном, Эди – папиным. Лиор был впечатлительным и обидчивым, Эди – впечатлительным и агрессивным.

После смерти родителей Эди, как и полагается настоящему прагматику, быстро установил почтовую связь с Лиором и не выпускал ее из своих рук до самой смерти последнего. Единственным условием, которое обеспечивало Лиору финансовую помощь брата, было настоятельное требование Эди писать письма. Раз в полгода Лиор дисциплинированно присылал брату подробный отчет о своих путешествиях.

“Строительство китайского домика – сложнейшее искусство, – писал он из Юймыня. – В древности настоящие мастера тратили на это около трех-четырёх лет. Причем собственно строительство занимало не более двух месяцев.

Остальное время было посвящено проектированию. Ты не представляешь себе, Эди, насколько сложен и увлекателен этот процесс! Домик, возводимый практически на голой земле из тростника и соломы, нужно наиточнейшим образом сориентировать в пространстве, согласовать со всеми сторонами света, с розой ветров. Надо изучить климат и особенности ландшафта до мельчайших подробностей, сверить тысячи нюансов с древними таблицами примет и знамений. Но и это не самое главное. Основная трудность проекта состоит в том, чтобы отыскать кусочек земли, на котором обитает Докудзин. Этим именем в Китае, а затем и в досамурайской Японии называли маленького божка земли и дома. У Докудзина четыре места обитания. Весной он ночует в кухонном очаге, летом – в воротах, осенью – в колодце и зимою – в садике перед домом.

По древнему поверью, хозяева не должны тревожить место его обитания. При вынужденном вмешательстве в дела Докудзина хозяева, как правило, спешно выезжают из дома.

Одни источники свидетельствуют о том, что Докудзин сам селится в отстроенных домах. Другие, которым я верю больше, утверждают, что дома строились в тех местах, где жил этот своенравный и могущественный божок.

Я уверен, что селевой поток, который снес мой последний домик, явился мстью Докудзина. Я его потревожил, Эди. И знаешь чем? Своим трехдневным отсутствием. Весной очаг должен оставаться теплым каждую ночь, иначе божок может замерзнуть. Я на три дня отлучился в Ланьчжоу, где добивался разрешения на строительство еще одного домика. И был за это строго наказан. Докудзин, должен тебе сказать, весьма жестокое существо. Во гневе он страшен и не постесняется убить человека, нарушившего его покой...

А вообще, скажу тебе честно, я глубоко разочарован отношением китайцев к древним традициям. Чиновники здесь такие же равнодушные, как и во всем мире. Им наплевать и на меня, и на мои идеи (которые, в сущности, сов-

падают с идеями их предков), и на самого Докудзина. Я думаю попробовать построить домик в каком-нибудь отдаленном крестьянском селении, откуда еще не выветрился дух древних легенд. Говорят, что таких селений здесь множество. Особенно на Тибетском нагорье. Если мне удастся добиться разрешения и субсидий от властей, я выеду туда уже на днях”.

“Ты занимаешься ерундой, – отвечивал Эди. – Приезжай-ка лучше домой и открой свое дело. Пойми, что твои китайские домики никому не нужны. Даже китайцам. Это прихоть, придурь, блажь. Мы живем в цивилизованном мире. Ты – современный архитектор. Ты должен строить из бетона и стекла, а не из травы...”

В Картахене Лиор познакомился с одним весьма приятным человеком. Этот человек не только внимательно выслушал сетования израильтянина на черствость местных властей, но и вызвался помочь. Причем буквально за нескольких часов уладил не только юридические вопросы с визой и гражданским статусом Лиора, но и оговорил с властями возможность приобретения клочка земли в каком-нибудь отдаленном районе.

Знакомство с этим высоким черноволосым красавцем средних лет состоялось в картахенском морском порту, где таможенники чуть не раздели Лиора догола.

– Оставьте в покое этого иностранца, – прозвучал за спиной Лиора властный голос. – Он приехал ко мне...

Красавец отстранил таможенников, взял Лиора под руку и вывел его из терминала.

Лиор хотел было поблагодарить спасителя, но тот только кивнул на прощание и исчез. А через три дня они вновь встретились в одном из ресторанов. Лиор, уже отчаявшийся добиться разрешения на строительство временного китайского домика где-нибудь в пригороде Медельина или Барранкильи, мрачно сидел за стойкой и поглощал уже пятую чашку кофе.

– А, старый знакомый! – незнакомец подсел к Лиору и радушно пожал ему руку.

Звали его... Докудзин. Этот факт так поразил китаиста, что он поначалу потерял дар речи.

– Это моя кличка, – сказал красавец. – А имя тебе знать не обязательно, тем более что у нас принято называть друг друга по кличкам.

– Но откуда?! – восхитился Лиор. – Откуда у вас такая кличка?!? Здесь, в Колумбии...

Через минуту стало ясно, что незнакомец не только не имеет понятия о древнекитайских верованиях, но и смутно представляет себе, где вообще находится Китай и с чем его едят.

– Я больше интересуюсь Северной Америкой и Европой, – заявил он. – А вообще-то моя кличка имеет вполне нормальное для наших мест происхождение. На юге страны, в долине реки Апопорис, обитает маленькая певчая птичка-дрозд. Европейцы называют ее Сольвейг. Звуки, которые она издает, как раз и составляют это странное для испанского уха имя “до-ку-дзин”. В юности я занимался отловом этих птиц. Продавал их каким-то темным личностям якобы для зоопарков, хотя я не очень-то уверен, что мои оптовые покупатели приобретали птичек для показа детишкам. Кое-кто поговаривал, что в ряде парижских ресторанов из нашей Сольвейг готовят деликатесные блюда. Впрочем, все это в прошлом. Сейчас мои пичужки почти истреблены.

“Представь себе, многоуважаемый братец, – писал Лиор из Миту. – Я, кажется, нашел своего божка. Он оказался красивым и приятным колумбийцем. Я всегда подозревал, что китайские философия и космогония – единственные в своем роде сферы человеческого духа, пропитавшие собою весь мир, объединившие его в единое целое. Впрочем, не буду докучать тебе псевдонаучными разглагольствованиями.

Я пишу это письмо из маленького городка Миту. Он находится на юге Колумбии. Мой новый друг Докудзин при-

вез меня сюда, пообещав познакомить с... Сольвейг. Не удивляйся: это маленькая певчая птичка, обитающая в местных лесах...

В мои планы входит строительство китайского домика. Если мой друг сможет добиться разрешения на это строительство, я, может быть, останусь здесь навсегда...”

На строительство домика в долине Апопориса у Лиора ушло всего полгода. Он привык использовать свою бессонницу в собственных интересах и работал почти круглые сутки. Все это время он снимал комнату в одной из деревень и почти не общался с людьми. Изредка его посещал Докудзин. Он с интересом выслушивал подробности проекта и задавал весьма неожиданные вопросы. Особенно его заинтересовало устройство колодца – одного из главных атрибутов “инфраструктуры” домика.

– Зачем колодец, если рядом река? – спрашивал он.

– Как же ты не понимаешь! – восклицал Лиор. – Ведь колодец – это осеннее жилище бога. В нем может не быть воды – это не так уж важно. Главное, чтобы к приходу осени он был вычищен и прибран...

В конце концов домик был построен. Докудзин помог Лиору с рабочей силой, а в строительстве колодца и сам принял деятельное участие.

Прожив на берегу Апопориса несколько зимних месяцев, Лиор обратился к местным властям с предложением проводить в домике экскурсии и читать лекции о Древнем Китае. Поначалу на это предложение вроде бы откликнулись и прислали к Лиору две или три экскурсии. Но потом дело заглохло – слишком уж в далекое захолустье забрался этот чудак, слишком уж хлопотно было посылать к нему туристов.

В домике Лиор Григ прожил без малого год. По утрам уходил в лес в надежде услышать песню Сольвейг. Он расспрашивал местных жителей об этой птице, но получал слишком невразумительные ответы, чтобы делать из них какие-то выводы. Похоже, птицы действительно были ист-

реблены. Днем Лиор лежал на своей традиционной циновке и читал книги, которые, собственно, и составляли все его имущество. Вечером и ночью он писал трактат. Он задумал его еще в Сорбонне. “По следам Докудзина. Очерки о поисках очага” – так называлось творение Лиора Грига, так и не увидевшее свет.

В эти вечера Лиор бывал по-настоящему счастлив. Именно здесь, в глухой колумбийской провинции, он, казалось, нашел то, что искал. Бог земли вел себя на редкость дружелюбно. Почти так же дружелюбно, как и его тезка. Лиор даже задавался иногда вопросом – не является ли колумбиец Докудзин земным воплощением древнего китайского божка.

“Современные психоаналитики, – писал он брату в Израиль, – определили бы мое состояние как нечто среднее между дромоманией и раздвоением личности. На самом же деле это не так. Если б я был настоящим дромоманом, я давно уже оставил бы Колумбию. Кроме того, мои блуждания не были бесцельными. Я искал Докудзина и, кажется, нашел его. Что бы там ни говорила современная наука, только здесь меня покинуло ощущение полного и абсолютного одиночества. Только здесь я обрел то, что должен обрести каждый человек на земле, – чувство очага.

Ты знаешь, Эди, мы ведь с Докудзином беседуем по ночам. Не с тем, который колумбиец, а с тем, который китаец. Или японец. Он, правда, не показывается мне на глаза. Но его слова я слышу достаточно отчетливо. Это очень умный и требовательный собеседник. Да к тому же ужасно упрямый: до сих пор категорически отказывается рассказать мне, каким образом и зачем он переселился в Колумбию, покинув свои китайские и японские убежища...”

Однажды, возвращаясь теплым сентябрьским утром с прогулки по лесу, Лиор встретил недалеко от своего домика Докудзина. Обычно тот приезжал под вечер, причем исключительно по воскресеньям. Этот неурочный визит по-

казался Лиору весьма странным. Он хотел было узнать у друга, не случилось ли чего, но не успел.

Докудзин был явно взволнован. Его лицо было исцарапано, глаза бегали, костюм был испачкан глиной. Он как-то мельком кивнул Лиору, махнул рукой, пробежал по гравийной дорожке к автомобилю и поспешно уехал.

Больше Лиор его не видел. Собственно, больше он вообще не видел людей (солдаты и заключенные не в счет) — буквально через полгода он полностью потерял зрение. Это случилось в одной из тюрем Боготы в результате третьего — относительно удачного — покушения на жизнь Лиора.

В конце октября, в одну из душных ночей, Лиор дремал, сидя на циновке перед разбросанными листками рукописи. Полудрема была составной частью его бессонницы. Именно в этом состоянии он беседовал со своим богом. Глаза Лиора были прикрыты наполовину. Губы тихо шептали ивритские слова с частыми вкраплениями китайских терминов. Очнулся он около пяти часов утра. Очнулся со странным, томящим чувством, будто что-то важное в окружающем его мире изменилось. Несколько минут он тщетно пытался уловить эти изменения и вдруг услышал пение птицы. Лиор не сразу понял, что именно это пение его и пробудило. Ему потребовалось время, чтобы окончательно прийти в себя и осознать наконец, что слышит он не что иное, как песню Сольвейг. Необыкновенно чистый и высокий голос на разные лады выводил одну и ту же хрустальную фразу: “до-кудзин-до-ку-дзин-до-ку-дзин”. Лиор, смущенный, воодушевленный, обрадованный, ринулся к низенькому окошку, но вместо птицы увидел во дворе своего домика... солдат. Их было не менее двух десятков. Они на цыпочках разбегались по двору и окружали домик со всех сторон.

Через минуту Лиор уже сидел на крыльце с большим кровоподтеком под глазом и тщетно пытался высвободить закованные в наручники руки. Он ничего не понимал. Офицер, командовавший операцией, орал ему прямо в лицо

только одно английское слово: “Where?!!”

– Где?! – орал офицер, обжигая лицо Лиора жутким чес-ночным перегаром. – Где он?!

– Кто? – Лиор чувствовал, что происходит что-то страш-ное, какая-то катастрофа. Ему вдруг пришли на память сло-ва, вычитанные в какой-то китайской книге: “Бог гибнет прежде человека”.

– Кто вам нужен? Что вы делаете со мной?! – интуиция подсказывала Лиору, что вот-вот произойдет несчастье, крушение, бедствие, что через несколько минут прекратит свое существование что-то очень важное для него, может быть, сама жизнь.

– Кто вам нужен? – спросил он еще раз.

– Докудзин! – прокричал офицер и огромным кулаком сильно ударил Лиора по губам.

“Им нужен бог?! О, им нужен мой бог!! Они пришли от-нять у меня бога!!!” Лиор заплакал. Слезы покатались по его щекам и обожгли разбитые губы.

– Где?! – вновь заорал офицер и еще раз ударил Лиора по лицу. – Скажешь или нет?!

– Да-да, сейчас... – забормотал Лиор. – Я не знаю... Я не могу... Какое вам дело до этого...

После очередного удара он вспомнил, что на дворе сто-ит осень, и обреченно кивнул в сторону колодца. Когда сол-даты опускали в колодец на веревке одного из своих това-рищей, Лиор вскочил с крыльца, крикнул: “Докудзин, бере-гись!!!” – и без сознания рухнул на траву.

Из колодезного тайника были извлечены три тяжелые брезентовые сумки. В одной находились гранаты и взрыв-чатка, в двух других – героин.

Лиор очнулся уже в тюрьме. Из уютного китайского до-мика, где было тепло и сухо даже в сезон проливных дождей, Лиор был перенесен в грязную выгребную яму – иначе эту тюрьму не назовешь. Ему инкриминировали связь с нарко-мафией, хранение наркотиков и оружия. За все это в сово-

купности его ожидали как минимум три смертные казни. И если бы не вмешательство израильского консула да не внезапная слепота, Лиора бы не стало уже тогда – в Колумбии.

Эди Григ проявил незаурядные организаторские способности, подняв на спасение брата чуть ли не всю мировую общественность. Тогда, в середине семидесятых годов, израильские газеты день за днем давали сводки о продвижении процесса по освобождению Лиора Грига.

Колумбийская полиция подозревала его в связях с главарем одной из наркошаек, Докудзином, застреленным бразильскими пограничниками при попытке нелегального перехода границы. Главари конкурирующих между собою банд, не успевшие свести счеты с самим Докудзином, пытались ликвидировать его “приятеля” – они не сомневались в том, что Лиор помогал Докудзину осваивать европейский и ближневосточный рынок наркотиков и, естественно, слишком много знал.

Дважды его пытались зарезать. В первый раз Лиора спасла его вечная бессонница – он успел закричать, когда ночью один из сокамерников набросился на него с жестяным лезвием, сделанным из консервной банки. Во второй раз проявил хорошую реакцию охранник. На одной из прогулок в тюремном дворе Лиора поздравил к себе тюремщик. Этот был вооружен уже самым настоящим ножом и непременно сделал бы свое грязное дело, если бы с вышки не раздался выстрел. Тюремщик упал с разможенной головой прямо под ноги заключенному.

В конце концов Лиора отравили. В его кружку с водой подсыпали какой-то местный яд. Но концентрация этого яда оказалась, очевидно, недостаточной. Преступникам не удалось отнять у Лиора жизнь. Но они лишили его зрения.

Наконец освобождение состоялось. У ворот тюрьмы в Боготе Эди Григ принял своего истощенного и незрячего брата в объятия.

– Бедный мой “маленький Григ”, – всхлипывал он. – Я увезу тебя домой, в Израиль. Там тебе будет хорошо, поверь мне. Там ты забудешь весь этот кошмар. Там мы найдем тебе хорошее занятие. Это ничего, что ты не видишь... Ты ведь сильный мальчик, ты ведь справишься с этим... Мы еще будем счастливы с тобой, Лиор!..

Странно было наблюдать за этим сорокатрехлетним солидным человеком, который рыдал, одной рукой обнимая брата, а другой размазывая обильные слезы по своим смуглым холеным щекам. К зрелости Эди постигла участь большинства благополучных людей – он стал чрезвычайно сентиментален.

В доме брата Лиора встретили прекрасно. Ему отвели просторную комнату с балконом, предоставили все удобства и даже приставили помощницу-китайку, с которой Лиор время от времени пробовал говорить на китайском.

Жена Эди и два его сына (тринадцать и пятнадцать лет) выказывали по отношению к несчастному родственнику максимум тепла и такта.

Жизнь Лиора выглядела довольно насыщенной. Эди и его старший сын Мики начитывали на магнитофон нужные статьи, сам Лиор – сначала в сопровождении китайки, а потом и самостоятельно – выходил на ежедневные прогулки по городу.

Внешне все было хорошо. Но если бы Эди хоть немножко знал своего брата раньше, он бы заметил, что тот огонь, который горел в душе Лиора всю его жизнь, не угас, что “дурь” и “блажь” все еще продолжают терзать его лишенное зрения сознание.

По вечерам семья собиралась за ужином в огромном салоне. Ели, пили, разговаривали. Однажды, в один из таких вечеров, Мики попросил дядю рассказать о китайском домике.

– Ты действительно этого хочешь? – спросил Лиор.

– Да, – сказал Мики. – Я помню твои письма из Китая и Кореи. Ты писал тогда, что бог Докудзин неуловим, что его

невозможно поймать даже в местах его традиционного обитания.

– Да, я помню, – сказал Лиор. – Поймать бога невозможно. Поймать его – значит убить...

Лиор помолчал немного, а потом с горечью добавил:

– Бог гибнет прежде человека. И это самое страшное. Знаешь почему? Потому что человек после этого обязан жить дальше. А как жить дальше? Ведь бога уже нет? Как можно жить наощупь? Оказывается, можно. В этом и заключается месть бога за допущенную человеком ошибку.

Китайский домик... Теперь это всего лишь красивая легенда... Без Докудзина все это теряет смысл...

– А можно воскресить бога? – спросил Мики. – Ведь он, по идее, должен быть бессмертен. Его смерть – это лишь случайный эпизод, уход в другие сферы. Ведь правда?

– Ты хорошо начитан, – сказал Лиор. – Ты спрашиваешь, можно ли воскресить Докудзина? Не знаю... Не уверен... Я ведь всю жизнь именно этим и занимался...

Его лицо приобрело странное выражение. В вечернем сумраке оно выглядело зловещим. Если бы это было не лицо слепого, его выражение можно было бы определить как хитрое и даже коварно-хитрое.

– Для этого нужно построить идеальный китайский домик, – продолжил Лиор, – домик, который занимает единственное место в мироздании, место, предназначенное только для него... Это невероятно трудно... Для этого нужна особая земля, особая страна, особая интуиция... Мне это никогда не удавалось...

Он помолчал секунду и тихо добавил:

– К тому же необходимо полное отсутствие людей...

– Эй, кончайте философствовать! – крикнул с балкона Эди. – Идите лучше смотреть, какой фейерверк устраивают сегодня над городом...

Лиор пропал тихой августовской ночью. Утром Эди обнаружил на обеденном столе записку, написанную круп-

ным неровным почерком слепого: “Включи магнитофон”.

“Дорогой мой Эди, – голос Лиора казался холодным и механическим. – Я уезжаю. Пока не знаю куда. В “Обществе слепых” я нанял себе надежного провожатого. Милый мой брат, эта попытка будет последней. Обещаю тебе. Если и она закончится неудачей, я вернусь и буду жить у тебя до конца своих дней. Это действительно последняя попытка, Эди. Поэтому прошу тебя: не мешай, не преследуй меня. Со мной будет все хорошо... Обещаю писать тебе так часто, как только смогу... А пока прощай...”

В течение полутора лет Эди исправно получал по почте магнитофонные кассеты с “письмами”. Сначала они приходили из Рабата, затем из Нуакшота и, наконец, из Найроби.

Последнее такое “письмо” Эди получил за несколько дней до официального извещения о трагической гибели брата.

“Мне кажется, я опять чем-то прогневил бога, – говорил Лиор. – На днях обнаружил на юго-восточном склоне крыши мертвую птицу. По моим предположениям, молодую дрофу. Если бы ты знал, Эди, насколько это дурной знак. Эпизод с мертвой птицей на юго-восточном склоне крыши описан аж в трех японских источниках X века. Ты знаешь, я так счастлив, что смогу наконец проверить правильность моих расчетов. Это же прекрасный случай провести эксперимент. Впрочем, ты не волнуйся. Сто к одному, что я снова ошибся и ничего не произойдет. Я подожду еще месяц-другой, а потом, наверное, вернусь в Израиль. Если ты, конечно, не возражаешь. А пока прощай, брат!..”

Лиор погиб через три недели после того, как надиктовал это письмо. Погиб в автомобильной катастрофе. Многотонный грузовик, принадлежавший британской компании по торговле крупным рогатым скотом, по непонятной причине свернул с проселка и врезался в китайский домик Лиора.

“Врезался” – сильно сказано. Грузовик просто подмял этот домик под себя, как картонную коробку. Лиор, лежав-

ший в это время на циновке возле очага, был раздавлен насмерть.

Это случилось в Кении, недалеко от озера Рудольф, в сорока пяти километрах к северу от небольшого городка Лодвар.

В кузове грузовика – в специально разгороженных стойлах – находились несколько коров и быков. Когда полиция прибыла на место аварии, животные громко мычали и пускали слюни...

Вместе с гробом Лиора нотариус передал Эди Григу небольшой пакет. В нем была магнитофонная кассета. На пакете печатными буквами было выведено: “Передать моему брату Эди Григу в случае моей безвременной кончины”.

В день похорон Эди был вне себя от горя. Он вдруг почувствовал, что всю жизнь его связывали с младшим братом какие-то незримые нити, что он очень любил этого чудака и чем меньше знал о нем, тем сильнее любил. Эди был настолько безутешен, что просто-напросто забыл о пакете.

Как-то раз Мики попросил у отца разрешения послушать музыку. Он поставил кассету, включил магнитофон и на минутку вышел из комнаты. Когда он вернулся, отец стоял возле динамика и... плакал. Слезы ручьями текли по его гладким шоколадным щекам. Комнату наполняла симфоническая музыка.

– Где ты взял эту кассету? – сквозь всхлипы спросил Эди.

Мики показал на забытый пакет, лежащий на книжном стеллаже прямо над магнитофоном.

– Что это, пап? – спросил он.

– Это Григ... Песня Сольвейг... – и Эди прерывающимся голосом прошептал:

– Спи, мой милый!.. Я буду охранять твой сон... Я так долго тебя ждала, и ты пришел ко мне...

Эту историю поведала мне Лили Розен, переводчица с китайского. Несколько лет назад она обслуживала израиль-

скую делегацию на Всемирном женском конгрессе в Пекине.

– Если бы не случай, я бы и не вспомнила о китаисте Лигоре Григе, – сказала она. – В рамках конгресса у нас было несколько экскурсий. Одна из них – в Юймынь. Там нас повели в музей под открытым небом, который назывался “Уголок Древнего Китая”. Здесь был отстроен целый район китайских домиков. Местный экскурсовод подробно объяснил их устройство, показал кухонную утварь, рассказал про традиции.

Музей этот появился совсем недавно. По словам нашего гида, идея принадлежала одному муниципальному чиновнику из Ланьчжоу.

Домики стояли достаточно скученно. К каждому из них вела аккуратная дорожка, посыпанная мелким серебристым гравием. Весь городок был организован с исключительной педантичностью. В нем царил идеальный порядок.

И только к концу экскурсии мы увидели маленький китайский домик, стоявший на отшибе. Он никак не вписывался в стройную симметрию всего городка. К нему даже не вела гравийная дорожка.

“Этот домик покинут богом, – сказал экскурсовод. – Хозяева вынуждены были оставлять такое жилище, чтобы избежать несчастий”. Он вздохнул и развел руками, как бы говоря о том, что жизнь его далеких предков была чересчур осложнена предрассудками.

“А откуда хозяева узнали, что их дом покинут богом?” – спросила я.

“А отсюда”, – ответил вежливый китаец и показал на чучело большой птицы, которая полусидела-полулежала на одной из покатых соломенных граней крыши.

К двери этого домика была прикреплена табличка с иероглифами. Это было традиционное послание дому от его хозяина. Оно гласило:

*Когда вернется маленький божок,
Мы станем жить по-прежнему, дружок.*

БЕЛОСНЕЖНАЯ КОРОВА ИО

Рон Мор называл свою жену Ио, хотя ее настоящее имя с именем возлюбленной Зевса ничего общего не имело.

Ее звали Шошана. И в этом Рон находил жуткое несоответствие. Она ничем не напоминала хрупкую лилию. Внешностью она вообще не напоминала растение, характером же (до своего драматического преобразования) была похожа на спелый подсолнух.

Это была крупная сильная женщина. Красивая той природной красотой, которую славяне безбожно определяют некошерной фразой “кровь с молоком”.

Кожа ее была на удивление белой. Не бледной, а именно белой, что крайне редко встречается в наших южных краях. Родители Шошаны репатриировались в Израиль в пятидесятых годах из Польши. Ей тогда было пять или шесть лет. В Израиле она закончила школу и – непонятно каким чудом – университет.

Шошана была женщиной. В том смысле, в каком женщиной мы называем Даная, Мону Лизу или Кармен. Казалось, что женщиной она родилась. В ней было что-то от Евы, что-то совершенно первородное и не доступное пониманию современного человека. Ее руки нельзя было назвать изящными – они были достаточно пухлы. Впрочем, нельзя было говорить о ее руках или, скажем, плечах отдельно. Ее тело можно было представлять только в целом – столько гармонии оно источало.

Иногда по утрам Рон смотрел на спящую жену и испытывал непонятное чувство нежности и страха, чувство, похожее на молоко, смешанное с кровью. С одной стороны, он прекрасно понимал, что это его женщина. С другой – ему было совершенно ясно, что это его чужая. Чужая не ему лично, чужая всем и всему – людям, разуму, миропорядку, цивилизованному чувству.

Когда Шошана спала, она принадлежала только сну. Когда она пела (слуха, кстати, у нее не было), она принадлежала песне. И даже когда они с Роном занимались любовью, она принадлежала самому процессу любви, а вовсе не конкретному мужу по имени Рон.

Это его бесило. Временами он порывался развестись с женой. Но чем дольше они жили вместе, тем больше он понимал, насколько прочно прикован к этому странному существу, прикован тяжелыми стальными кандалами – ее равнодушием и чуждостью.

Шошана являла собою некую смесь между женою Жан-Жака Руссо Терезой (как написал ее Фейхтвангер) и Кармен. Она никогда не была озабочена собою. Она жила так, как жила. В меру вольно, в меру скованно, – короче, так, как позволяла ей окружающая ее природа (если город Рамат-Ган можно хотя бы отдаленно сравнить с природой).

Рон работал секретарем в адвокатской конторе. В свое время он закончил юридический факультет Тель-Авивского университета, но ни прокурором, ни адвокатом, ни судьей так и не стал. Он стал писателем. Три его романа вышли в свет в семидесятые годы. Они не имели громкого успеха, но, судя по реакции критики, это все-таки была хорошая литература.

Четвертым романом Рона стал роман с Шошаной. Впервые он встретил ее на каком-то сабантуе в мастерской художника Мартина Лесса. Сабантуй был достаточно шумным, народу было много. Шошана сидела в углу и молчала. Даже в этой огромной студии с высокими потолками и гигантскими окнами она умудрялась заполнять свои телом большую часть пространства. Все до одного мужчины, присутствовавшие на празднестве, время от времени бросали на нее странные взгляды – тягучие, задумчивые, гипнотически-вождедеющие. Бросал такие взгляды и Рон.

– А ты разве не знаком с нею? – толкнул его в бок художник-стеклодув Ян Рош. – О, это уникальная женщина. Она

позирует Мартину уже второй месяц, и он никак не может закончить картину. Вернее, не хочет заканчивать.

– Кто она? – спросил Рон.

– Не знаю, – ответил Рош и пожал плечами. – Натурщица...

К ним подошел подвыпивший Мартин Лесс.

– Ну что, Рон, нравится тебе Шошана? – Он привык сразу брать быка за рога. – Классная телка. Ты не представляешь себе, какие спектакли устраивает она на сеансах!.. Как она раздевается!.. Это просто потрясающе!.. Мне порою кажется, что я никогда не напишу свою картину – столько в этой Шошане всего намешано. Хочешь, приходи как-нибудь посмотреть! Такого ты никогда и нигде не увидишь...

Через несколько дней Мартин позвал Рона “на сеанс”. Рон шел в мастерскую друга со смутным чувством. Он стеснялся увидеть там нечто неприличное, что-то такое, за что ему будет стыдно, и Мартин это заметит. Толкнув высокую деревянную дверь на чердак восьмизэтажного дома в Северном Тель-Авиве, Рон обнаружил, что в мастерской, кроме Мартина, находится еще несколько человек. Кое-кого он знал, некоторых видел впервые. Позднее Рон понял, что все они, так же как и он, были приглашены художником “на спектакль”.

Публика сидела на стульях позади мольберта и беззаботно болтала. В центре зала, на расстоянии примерно десяти шагов от мольберта, стоял старый деревянный табурет. В студии было светло и просторно. До тех пор, пока в нее не вошла Шошана.

Скрипучая дверь отворилась совершенно беззвучно. Но все почему-то мгновенно замолкли и, как по команде “равняйся!” повернули головы. Рон, стоявший спиной к двери, оглянулся. Впоследствии он долго пытался понять, что же тогда произошло, пытался восстановить свои чувства в тот момент и никак не мог вспомнить, что толкнуло его обернуться. Он помнил только, что внезапно ощутил какое-то

сладкое удушие. Так перехватывает дыхание, когда опускаешь лицо в благоухающий букет свежих полевых цветов.

Шошана была в легком цветастом платье, какие, в общем, давно уже не носят. Разве что в отдаленных польских деревеньках. Но ей это платье шло самым чудесным образом. Этот легчайший радужный лоскут нежно обнимал тело Шошаны и местами казался почти прозрачным. “Буколическая девушка”, – подумал тогда Рон.

Ее лицо не выражало ничего. И вместе с тем источало какой-то непонятный свет, какое-то ароматное благодушие.

Присутствующим она сказала “здрасьте” и сразу прошла к табурету. Рон понял, что публичный сеанс Мартин устраивает уже не первый раз и про себя посетовал на безнравственную затею друга. Позже, когда он попытался высказать свои претензии к Мартину, тот резко оборвал его.

– Ты плохо обо мне думаешь, – сказал он. – Это было впервые. И ты, как человек творящий, поступил бы на моем месте точно так же. Это был эксперимент. Поверь, ни с какой другой непрофессиональной натурщицей я бы так не поступил. Но мне хотелось проверить, как она поведет себя в присутствии такого количества мужчин. Ты же видел – никакой реакции. Она телка! Самая натуральная телка! Я, кажется, женюсь на ней...

Но женился на ней Рон. Впрочем, об этом после.

Шошана подошла к табурету, бросила на пол свою сумочку, села и стала снимать туфли. Выражение ее лица при этом не менялось. Полные руки двигались в задумчивой истоме. Истому источало все ее тело. Это была пластика Афродиты, вышедшей на песчаный пляж из средиземноморской пены и повредившей своей божественной наготой рассудки загорающих киприотов.

Сняв туфли, она отбросила их в сторону плавным и вместе с тем пренебрежительным движением ноги. Рону хватило бы и этого. Он уже готов был броситься к ней и поцеловать ее белую ступню. Ему казалось, что такое желание

испытывают все присутствующие. Все, кроме Мартина, который, очевидно, эти ноги уже неоднократно целовал.

Под платьем у Шошаны не оказалось ничего, кроме ослепительно белого тела. Она смахнула с себя цветастый кусок материи как нечто чуждое, назойливое, ненужное. Смахнула одним плавным взмахом и предстала перед изумленной публикой абсолютно – как бы это поточнее выразить? – освобожденной. Дыханье Рона вновь на мгновение прервалось. Нет, он вовсе не был потрясен красотой этой женщины, прелестями нагого тела, как сказал бы пошляк. Он был ослеплен космическим бесстыдством и в то же время целомудренной грациозностью, с какой эта женщина снимала с себя одежду.

Цветастое платье Шошаны было, очевидно, сшито из очень легкой материи. Подброшенное вверх, оно медленно, будто раскрашенное радугой облако, опускалось на пол за спиной богини. Сама же богиня стояла, освещенная светом из окон, и смотрела на Рона (так ему казалось) полным добросердечного равнодушия (иначе не определить) взглядом. Она стояла, а платье летело. Струился свет, ленивое время еле-еле передвигало свои стрелки. А платье летело, создавая фигуре небожительницы контрастный inferнальный фон. Это длилось целую вечность. Если бы Рон мог тогда хотя бы пошевелиться! Если бы он мог сбросить с себя эти вязкие чары!

В мастерской царил белая тишина. Слышно было, как в умывальнике падают в раковину долгие капли. Извне лился тяжелый золотой свет, обдавая своими волнами высокую обнаженную девушку, стоявшую посреди зала.

Полная грудь Шошаны, ее покатый крепкий живот, сильные бедра, длинные, быстрые голени – все это грозило катастрофой каждому из присутствующих.

Проклятое платье наконец-то уступило силам гравитации и с легким плеском растеклось позади табуретки маленькой цветной лужей. Шошана сцепила кисти рук в за-

мок, вывернула их наизнанку, выбросила вверх и сладко потянулась, продемонстрировав присутствующим глубокие нежные подмышки. Налитые янтарным светом соски, как стволы зенитных орудий, уставились в стену поверх обезумевших голов зрителей. Стоящий рядом с Роном пожилой скульптор Рик Корен тихонько застонал.

Девушка потянулась, тряхнула светловолосой головой, провела левой рукой от груди до бедра и уселась на табуретку. Именно уселась, а не села. Уселась своими мягкими белоснежными ягодицами, широко раздвинув вдохновенные ноги.

Во всем этом “спектакле” было что-то потустороннее, какая-то первобытная безыскусная магия. Никто не дышал. Но зато все видели, как дышит богиня. Невозможно было определить, когда она делает вдох, когда выдох. Дышало все ее тело, каждая пора, каждая клетка, каждый волосок. Более того, все ее тело выражало неистребимую жажду дышать. Дышало ее лицо, дышали плечи, грудь и живот, дышало то самое место, всегда плодородно-влажное, на которое Рон осмелился взглянуть только после свадьбы. Она дышала вся. И была занята только этим. Взгляд ее блуждал по пространству студии, не различая предметов. Вернее, не делая между ними никакого различия. Она отдыхала. Она, собственно, для этого и пришла. Да что там! Она для этого родилась.

Мартин Лесс прервал сеанс самым неожиданным образом.

– Вон! – заорал он своим гроыхающим голосом. – Все вон! Я больше не могу!.. Это невозможно!..

Ошарашенные гости испуганной стайкой двинулись к двери.

– А ты чего расселась?! – Мартин метнул на Шошану ненавидящий взгляд. – Тебя что, не касается?! Вон отсюда!

Для тех, кто хорошо знал Мартина Лесса, его выходка была вполне органичной. Художник был весьма импуль-

сивным человеком, невоздержанным не только в словах, но и в поступках. Это был авантюрист и неврастеник. Рон – пожалуй, единственный из присутствующих, кто дружил с Мартином по-настоящему, – догадывался о причинах такой бурной реакции. Они с Мартином были знакомы с детства, вместе росли, их родители дружили семьями. И Рон прекрасно знал все темные и светлые стороны характера друга. Он знал, что Мартин – порядочный человек. Но избирательно порядочный. Когда дело касалось творчества, он презирал любые экивоки. На одной из своих персональных выставок он ударил какого-то критика кулаком по лбу, за что был строго наказан большим штрафом и немедленным закрытием вернисажа.

Испуганные мужчины устроили у дверей толкучку. Рон тоже направился было к двери, но Мартин схватил его за рукав и зловеще прошептал:

– А ты останься...

Шошана одевалась. Так же равнодушно и медленно. Несмотря на обратный порядок действий, одевание представляло собой точно такой же спектакль, как и раздевание. Но Мартин сбил своим криком божественную пыльцу со всего этого действа, и Рон уже не смотрел в сторону богини. Он только услышал, как она прошла к двери, ровным грудным голосом сказала “пока” и вышла.

– Я хотел писать с нее Афродиту, – сказал Мартин, когда шаги натурщицы стихли за дверью. – Афродиту, идущую по пустыне. Перед нею пустыня, а там, где она уже прошла, – цветущий весенний луг. Представляешь? Я долго искал натурщицу. Ни одна из профессионалок на это дело не годилась. Все они слишком испорчены, потасканы, жеманны. Шошану я встретил на пляже. Она лежала на солнце, одетая в платье. Я нагло подошел и спросил, почему она не загорает. Знаешь, что она мне ответила? Она сказала: “Здрасьте...” И все. Потом я ее пригласил в мастерскую, написал на клочке бумаги адрес, заявил, что хотел бы рисо-

вать ее голой, и ушел, потому что никакой реакции не последовало. А на следующий день она приперлась в мастерскую, разделась так же, как сегодня, и уселась на табурет.

Это был какой-то кошмар. Через час работы с мыслями об Афродите было покончено. А через неделю мне в голову пришла новая идея – нарисовать с нее Ио, дочь аргосского царя. Помнишь эту легенду у Овидия Назона? Громовержец, чтобы защитить свою возлюбленную от гнева жены, превращает ее в бессловесную белоснежную корову. Шошана и есть Ио. Она и есть бессловесная белоснежная корова, которой, правда, в отличие от любовницы Зевса, и в коровьем образе хорошо.

Я начал писать. Но еще через неделю этих идиотских сеансов поймал себя на том, что мне уже не хочется писать корову. Я, к ужасу своему, понял, что горю желанием написать, как эта корова раздевается! Какие там легенды! Какие там мифы Древней Греции!.. Мне хочется писать стриптиз!.. Но сегодня я почувствовал, что не смогу сделать и этого...

Мартин сходил на кухню и принес оттуда початую бутылку виски.

– Хочешь? – спросил он у Рона. Тот отказался.

– Я вижу, что с тобой происходит, Рон. Ты, кажется, тоже пустил слюни, как и все эти мужланы. Предупреждаю тебя как друга. Берегись. Она очень опасна. Ты даже не представляешь себе, насколько опасна она для мужчины... Для художника...

Мартин сделал большой глоток прямо из горлышка бутылки.

– Сегодня я выгнал ее уже в третий раз. И ничего. Приходит на следующий день как ни в чем не бывало. То ли воздух ей здесь нравится, то ли освещение. Сейчас она, наверное, сидит в кафе с кем-нибудь из этих. Думаешь, они все разошлись по домам? Как бы не так! Эти оловянные

солдатики наверняка ждали ее у подъезда. Потом, наверное, передрались, как мартовские коты...

Чем больше Рон ухаживал за Шошаной, тем больше запутывался в своем отношении к ней. Она его влекла, как влекла любого. Она притягивала к себе мужчин, как магнит – железные опилки. Но в то же время она не делала никаких предпочтений. Со всеми была одинакова. Со всеми была сердечно равнодушна.

По стечению обстоятельств Рон оказался первым, кто сделал Шошане предложение. Она согласилась с таким же дежурным чувством, с каким говорила свое непереносимое “здрасьте”. После нескольких лет супружеской жизни Рон понял, что она с такой же легкостью могла выйти замуж за любого, кто раньше, чем он, удосужился бы предложить ей руку и сердце. За кого угодно. Даже за плешивого и многодетного Рика Корена.

Поначалу Рон изо всех сил пытался придать их отношениям романтический характер. Но все его устремления разбивались о коровье равнодушие Шошаны.

О, нет, она вовсе не была холодной. В постели она сотворяла такие чудеса, о которых Рон до женитьбы и не подозревал. Она отдавалась с великим самозабвением, она вела себя, как настоящая самка, она рычала, кусалась, мурлыкала, становилась то нежной, то неистовой. Но отдавалась она, увы, не Рону. Она отдавалась природе, процессу слияния, так сказать. И Рон это чувствовал. Если бы на его месте в эти минуты оказался кто-то другой, Шошана получила бы то же самое удовлетворение.

Поначалу этот факт страшно терзал писателя. Но в конце концов, будучи довольно умным и сильным человеком, он сумел убедить себя в том, что если нет любви к другому, значит, нет и измены. О том, что среди прочих она не любит и его самого, Рон старался не думать.

По прошествии трех лет супружеской жизни – Рон тогда

писал роман о Катастрофе – ему захотелось, как и Мартину Лессу, провести эксперимент. Он решил совершить очередную попытку преобразования Ио и повел Шошану к знакомому врачу Герцлю Кацовски, который в своей клинике в Иерусалиме творил гинекологические чудеса.

– Слушай, Герцль, – сказал Рон, зайдя в кабинет и оставив жену в коридоре. – Я хочу, чтобы ты обследовал ее и, если понадобится, меня, и сказал совершенно определенно, почему у нас нет детей. Понимаешь, я хочу... Мы хотим ребенка...

Обследование длилось несколько недель. По его окончании Кацовски позвонил Рону и пригласил к себе. “Только приходи один, – сказал он. – Без жены...”

Разговор между врачом и писателем был более чем странный.

– Я тебе должен сказать сразу, – начал Кацовски, – что я ничего не понимаю...

– Разве это возможно? – попытался пошутить Рон.

– Получается, что возможно, – совершенно серьезно сказал Кацовски. – Здоровья у твоей Шошаны хватило бы на десятерых. Тебе тоже грех жаловаться. Она не использует никаких противозачаточных средств и, как я понял из ее слов, даже не знает, что это такое. Но те процессы, которые должны неминуемо происходить в ее, извини меня, чреве, почему-то не происходят. Это-то мне и непонятно...

Знаешь, Рон, может быть, мой совет прозвучит несколько неожиданно, но своди-ка ты ее к... Минуцу.

– И кто это мне советует?! – запротестовал Рон. – Ученый, профессор, человек строгих правил и точных знаний?!

Кацовски пожал плечами. Их общий знакомый Георг Минуц был известным экстрасенсом. Он занимался лечением на расстоянии, телепатией, астрологией, гаданием, лозоходством – в общем, всем тем, что Герцль Кацовски от души презирал и с откровенным отвращением называл дремучей чушью.

– Ты знаешь, как я отношусь к этому шарлатану, – сказал

врач на прощание. – Я уверен, что ничего серьезного он тебе не скажет. Но, может быть, он просто найдет ответ, который тебя удовлетворит. Я такого ответа дать тебе не могу...

Миницу потребовался всего час, чтобы все разложить по полочкам. Трудно сказать, удовлетворил Рона диагноз экстрасенса или нет, но поэтическое содержание, заложенное в нем, имело вполне определенный смысл.

– Она не может забеременеть, – сказал Миниц.

– Почему? – спросил Рон.

– Потому что не хочет.

– Не хочет забеременеть от меня?

– Нет. Она просто не хочет ребенка. Ее нежелание сильнее любых противозачаточных средств.

Понимаешь, она самодостаточна. Ей хватает ее самой. Ей никто больше не нужен...

Миниц сделал паузу, а потом тихо добавил:

– Даже ты...

– Я это знаю, – твердо сказал Рон.

Услышав такое признание, Миниц повеселел.

– Тогда все становится гораздо проще, – хохотнул он и хрустнул пальцами. – Слушай. Она представляет собой очень редкий тип самодостаточных людей. Она живет окружающим миром в целом, а не отдельными его частями. Пока окружающий мир существует цельно, пока эта цельность осязаема, она полностью удовлетворена. Как только этот мир начнет дробиться в ее сознании на части, у нее появятся нормальные человеческие потребности. Любовь, модная одежда, деньги, дети и прочее. Сейчас она как бы находится в состоянии счастливого (для нее) и несчастливого (для тебя) сна. Беременность может стать одним из первых признаков ее пробуждения – признаком того, что она начала выделять тебя (или кого-нибудь другого) из окружающего мира... Но должен тебя предупредить. Такая метаморфоза будет очень болезненной и может закончиться трагически...

- Для нее?
- Для тебя...

После этого разговора прошло время. Рон заканчивал роман. Как-то незаметно для себя он стал встречаться с другой женщиной, знакомой еще по университету. Она его, кажется, любила. К Шошане он постепенно привык. Их отношения определились. Они стали откровенно холодными. С редкими чувственными всплесками по ночам. Рон не осторожничал и однажды откровенно рассказал жене о том, что у него есть любовница. Реакция была обычной.

В марте 1979 года Рон поехал на неделю в Варшаву. Для романа требовались кое-какие материалы из истории Варшавского гетто.

Роясь в архивах, Рон набрел на душераздирающую историю Златки Горовиц, польской еврейки, замученной нацистами в 1943 году. К материалам прилагался страшный по своей животной откровенности дневник гестаповского ублюдка Отто Кигера, который был награжден железным крестом за изобретение изощреннейших пыток.

Это был даже не дневник, а четкие, педантичные инструкции с примерами из богатого опыта палача. Каждое новое наставление начиналось гомерически циничной фразой: “Возьмем нормального человека..”

Кигер, наверное, мечтал стать вторым Шарлем Сансоном де Лонгевалем, основавшим знаменитую династию французских палачей. Но где уж сентиментальным и по-своему гуманным Сансонам было тягаться с этим извергом. Ни бичевание, ни четвертование, ни гильотина ни в какое сравнение не шли с теми воистину сатанинскими способами пыток и убийства, которые разрабатывал Кигер.

“Берем нормального человека, лучше – женщину, – описывал изверг пытку Златки Горовиц. – Делаем вокруг соска

непрерывный круговой надрез. Этот надрез нужно производить маленькими, желательными затупленными маникюрными ножницами. Края надреза должны быть рваными – так эффективнее. К концу этой операции объект, как правило, устаёт кричать, так что работать становится спокойнее.

Затем следует раскалить на огне тонкое стальное кольцо, сделанное наподобие согнутого бритвенного лезвия. Кольцо должно быть укреплено на длинной деревянной ручке.

..... Главное на данном этапе, чтобы объект не потерял сознания, чтобы он продолжал чувствовать боль.

Затем резким движением кольца вниз.

..... “

Дальше шла торопливая притиска: “На этом этапе она потеряла сознание. Пришлось сделать перерыв...”

Вернувшись из архива в гостиницу, Рон позвонил домой – в Рамат-Ган. Голос Шошаны был далеким, но и за несколько тысяч километров в нем ощущалось монотонное равнодушие. В коротком дежурном разговоре Рону удалось выяснить, что она не одна, что в квартире кто-то есть. Это его не удивило, как, впрочем, и то, что Шошана сказала в конце разговора: “Я соскучилась. Приезжай скорее”. Это были пустые слова, которых за их супружескую жизнь было произнесено немало. Это была пустая измена, и далеко не первая в их совместной жизни. Но что-то в его душе все-таки шевельнулось, какой-то замочек щелкнул в его мозгу.

Рон стряхнул с себя оцепенение, спустился в бар, выпил бутылку пива, поднялся к себе в номер и завалился спать.

Наутро он направился в аэропорт. Там в одном из киосков купил небольшой маникюрный набор. Все два часа полета из Варшавы в Лод он водил по лезвию миниатюрных ножниц маленьким напильничком для зачистки ногтей.

Около трех часов дня Рон открыл дверь своей квартиры в Рамат-Гане. Он вошел в прихожую, аккуратно поставил кейс возле обувного ящика, снял с себя куртку, рубашку и туфли. Вынул из маникюрного набора ножнички, положил их в карман брюк и заглянул в салон.

Шошана лежала на софе, укрытая радужной простыней. Таким образом она проводила почти все свое время. Увидев в дверях мужа, она слабо кивнула и сказала свое неизменное: “Здрасьте...”

Она была довольно сильной. Рон даже не предполагал, что сопротивление будет таким длительным и упорным. Наконец ему удалось связать ей руки и ноги изорванной простыней. Затем он замотал ее рот полотенцем. Шошана выбилась из сил и лежала теперь, не двигаясь. Рон вытащил ножницы, поднес их к левому соску Шошаны и медленно стал погружать в грудь нижнее лезвие. Когда выступила кровь и маленькая красная росинка прокатилась по белой матовой поверхности груди, Рон взглянул в глаза жене и оторопел. Они – эти два холодных и равнодушных глаза – смотрели на него с выражением какого-то напряженного ожидания. Впрочем, нет. Не совсем так. Выражение этих глаз поразило Рона в первую очередь тем, что они вообще что-то выражали. Трудно было определить чувства, которые теснились в этом взгляде. В нем были и страх, и мольба, и благодарность, и вожделение. В этих огромных глазах Рон увидел себя, свое искаженное лицо. И тут он понял, что Шошана – эта белоснежная корова Ио – смотрит на него, на Рона, на своего мужа, который внутри ее глаз впервые обрел конкретные очертания – очертания взбешенного зверя. И Рон закричал. Закричал так, как не кричал никогда. Хриплые рваные звуки вырывались из его груди, вырывались, казалось, вместе с сердцем, вместе со всеми внутренностями... “Нет!.. – кричала Златка Горовиц. – Не надо!.. Не надо!..” И не могла уже кричать... Окровавленные ножницы жгли основания большого и указа-

тельного пальцев. Кольца их напоминали согнутые дугой бритвы. “Возьмем нормального человека, – вспомнил Рон. – Работать нужно в эластичных резиновых перчатках, чтобы не замарать руки кровью и испражнениями...” Окружающий мир взорвался и разлетелся на мелкие осколки. Действительность пошла вразнос. Пропало все – комната, софа, связанная Шошана. Перед глазами Рона плясало в кровавых бликах его обезображенное мукой лицо, лицо самца, зверя, убийцы...

Рон проснулся хмурым утром с сильной головной болью. За окном его номера уже бегали автобусы и автомобили, польская столица медленно пробуждалась от сна и устремлялась в новый рабочий день. Горло Рона горело.

– Вы так сильно кричали, – сказала ему молоденькая портье, – что я хотела уже вызывать “скорую помощь”.

– У меня это бывает, – хрипло ответил Рон, еще не оправившийся от кошмара.

В Рамат-Ган он прибыл через двое суток. Около восьми часов утра он открыл дверь своей квартиры, аккуратно поставил дипломат возле обувного ящика, снял с себя куртку, туфли и на цыпочках прошел в спальню.

Шошана спала, разметавшись на большой семейной кровати. Ее умиротворенное лицо было спокойно. Нагое тело, как всегда, источало белизну и здоровье. Здоровье и желание. Желание и равнодушие. Радужная простыня скаталась и лежала бесформенным комком в ногах.

На левой груди Шошаны, прямо над налитым янтарным светом соском, воспаленно сиял неровный сиреневый рубец.

Рон закашлялся. Она открыла глаза и впервые за много лет уставилась не в потолок, а на стоящего в дверях мужа.

– О, здрасьте... – протянула она, и ее тонкие темные брови слегка дрогнули. Она проследила за взглядом Рона и, кивнув на сосок, сказала: – Чистила яблоко и порезалась...

Потом она сладко потянулась – точно так же, как когда-

то в мастерской Мартина Лесса, – и поманила мужа к себе: – Иди сюда, ну иди же... Я соскучилась...

И впервые за много лет писатель Рон Мор поверил словам своей жены.

С этих пор Шошана переменилась. Метаморфоза была так стремительна, что Рону даже не потребовалось эксплуатировать свою профессиональную наблюдательность, чтобы замечать каждое новое движение, жест, каждую новую реакцию в ее поведении.

Шошана стала проявлять заинтересованность в его делах. Перестала валяться днями на софе. Ходила по магазинам. Звонила ему на работу. Напрашивалась с ним в командировки. Она стала ревновать его к любовнице и однажды устроила жуткую сцену с битьем посуды и хлопаньем дверями.

Она преобразилась. На ее белоснежных бедрах откуда ни возьмись обозначилось несколько досадных синяков, упругий живот стал рыхлым, на боках появились складки. Ее чувственные пухлые губы все чаще можно было видеть ярко накрашенными. Однажды Рон поймал себя на том, что чувствует исходящий от жены запах пота. Раньше он этого не замечал.

Преображение Шошаны произошло за какие-нибудь два-три месяца. Она стала мелочной, сварливой, непоседливой, неопрятной. Она приставала к Рону с идиотскими фантазиями, требовала, чтобы он больше зарабатывал, и иногда выслеживала его, когда он отправлялся в библиотеку или на работу.

Рону понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, что его жена непроходимо глупа, что она – простая базарная баба. Выяснилось, что у нее, у этой богини, у этой спящей красавицы, совершенно отсутствует вкус. Одевалась она вызывающе и вульгарно. Ее разговор был безграмотен, мысли пошлы, ее подозрительность переходила всякие границы. Вдобавок ко всему она стала стре-

нительно толстеть. Через полгода после возвращения Рона из Варшавы в ней невозможно было узнать Шошану, позировавшую художнику Мартину Лессу в его мастерской.

В конце концов Рон понял, что уже не любит свою жену. Он понял, что такая она ему не нужна. От белоснежной коровы Ио не осталось ни рожек, ни ножек. Возлюбленная Зевса канула в небытие, уступив место своему неудобоваримому образу и подобию.

В один прекрасный день Рон объяснился с Шошаной. Объяснился холодно и откровенно, как привык объясняться с ней раньше.

– Я не люблю тебя, – сказал он. – Ты мне неприятна. Я ухожу. Ты можешь оставаться здесь. И, прошу тебя, давай расстанемся мирно. Тебе все равно меня не удержать...

Шошана выслушала эти слова молча, с каким-то зловещим холодом в глазах. На мгновение Рону показалось, что перед ним сидит молодая Шошана, девушка, дочь аргосского царя, корова Ио. Но пять слов, произнесенных “царевной”, вернули его на землю.

– Я не хочу больше жить, – мстительно сказала она. Затем тяжело поднялась с кресла и шаркающей походкой пошла на кухню. На ее оплывших ногах были плюшевые тапочки с помпончиками в виде совершенно идиотских белых ежиков.

Стало быть, они расстались. Рон оставил Шошане квартиру, а сам перебрался к любовнице, на которой вскоре женился. А через три месяца вышла в свет прелестная повесть писателя Рона Мора “Белоснежная корова Ио”.

“Р. забыл ее гораздо быстрее, чем предполагал, – писал Рон в этой повести. – Ему так хорошо жилось нормальной жизнью, обыденными заботами, так хорошо спалось с нормальной женщиной, которая, кстати, души в нем не чаяла, что образ его бывшей жены умалился в памяти до случайного эпизода.

Но Ио напомнила о себе самым трагическим образом.

Как-то ранней весной Р. гулял по тель-авивской набережной. Погода стояла на редкость чудесная. Южное солнце еще только набирало силу. Мир был полон запахов и света.

Неожиданно внимание Р. привлекло маленькое радужное пятно в дальнем конце пляжа. Сначала ему показалось, что это обрывок какого-то плаката или брошенное покрывало. Но подойдя поближе, Р. понял, что принял за пятно девушку в цветастом платье. Она сидела прямо на песке и смотрела на море.

Р. почувствовал, что какая-то теплая волна поднимается с низа живота и обдает сердце. На мгновение он ощутил сладкое удушье... Это продолжалось, наверное, несколько секунд. Очнувшись, Р. провел рукою по глазам, сплюнул и поспешил домой.

Через несколько дней он снова увидел эту девушку. Она сидела на прежнем месте в прежнем платье. Сейчас Р. знал уже совершенно определенно, что именно такое платье было на Ио во время того самого сеанса у художника.

Р. подошел поближе. У девушки были светлые волосы и довольно полные белые руки. Она не загорала. Она просто сидела и дышала воздухом.

– Ио?.. – окликнул Р. Она обернулась, и он понял, что пропал. Да, это была Ио. Та же Ио, только чуть постарше, слегка похудевшая, но такая же крепкая, такая же полная жизненных сил.

– Здравсьте!.. – произнесла она тягуче, одними губами (или Р. только показалось, что она это произнесла?). Выражение ее лица было такое же отстраненное, как и в прежние, счастливые для нее времена.

– Ио, это ты? – не унимался Р.

Она встала, плавным движением Киприды стряхнула с платья песок и пошла в сторону одного из роскошных отелей. Очарованный Р. двинулся за ней...

Она обогнула отель, вышла на улицу Аяркон и пропала из виду. Р. бросился в одну сторону, в другую – ее нигде не было. Он побежал обратно к морю, но и там никого не обнаружил. Р. сел на гранитный парапет и достал сигарету. Прикуривая, он вновь увидел ее. Она стояла у распахнутого окна отеля на третьем этаже и призывно махала ему рукой. Он ринулся в отель, чудом не попав под колеса пронесшегося мимо автобуса. Перебежав дорогу, он увидел, что Ио выходит из дверей маленького кафе, расположенного в соседнем здании. Вернее, сквозь двери: табличка “Closed” даже не шелохнулась.

Эта была самая настоящая гонка. Гонка за лидером. Р. бежал изо всех сил, он задыхался, спотыкался, один раз даже упал, разбив колено и разорвав брюки, но бежал, бежал без остановки. Мозг сверлила единственная мысль: “Только бы не упустить ее! Только бы не упустить!..” Названия улиц сменяли друг друга со скоростью титров в старых кинолентах: Фришман, Дизенгоф, Давид Бен-Гурион, Адаса, Ибн-Гвироль, Арлозоров...

Внезапно его окатила ледяная волна разреженного кондиционированного воздуха: Р. бежал по стерильным коридорам больницы. Он поднимался по ступенькам, заглядывал в разные двери, вновь спускался, наталкивался на людей, извинялся на ходу и бежал, бежал, бежал... Цветастое платье, как призрак, время от времени возникало в дали коридоров, указывая ему дорогу. Силы Р. были на исходе. Он чувствовал, что его бедное сердце вот-вот выскочит из горла. На одной из многочисленных лестниц Р. споткнулся. Он попытался ухватиться за перила, но ослабевшие пальцы сорвались с никелированной стойки. Р. потерял равновесие, покатился по ступеням вниз и потерял сознание...

Он стоял посреди просторной больничной палаты и ежился от холода. Прямо перед ним, у маленького зарешеченного окна, на казенной больничной тележке лежал труп,

с головой накрытый радужной простыней.

Р. сделал три механических шага вперед и резким движением заводной игрушки сорвал покрывало.

Перед ним лежала Ио. Совершенно голая и безумно прекрасная. Она была мертва. Смерть вернула ей все утраченное в последние месяцы. Она лежала нагая, умиротворенная, равнодушная сердцем, как прежде. Она уже не ощущала целостности окружающего мира – она стала его неотъемлемой частью. Ее тело уже не дышало, но всем своим естеством – естеством смерти – страстно хотело дышать. Каждая линия, каждый изгиб были продуманы и выверены Высшим Существом, Абсолютным Мастером, Демиургом. И только небольшой глянцево-бледный шрам вокруг левого соска немного портил общее впечатление...”

На самом же деле Шошана вовсе не умерла. Через год после развода с Роном она обратилась к религии, вернулась к ответу, так сказать, вышла замуж за пожилого ешиботника, нарожала ему целую армию детей и, кажется, была счастлива.

Так что в этом смысле писатель Рон Мор что-то напутал.

РАБОТА ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ

Фирме “Boston Aliance”

на постоянную работу требуются программисты, имеющие опыт работы

**с Visual FoxPro (версия 3.0 и выше),
ORACLE, C, C++, JAVA.**

**Резюме можно прислать по факсу 617/7130606
и e-mail: mproekt@yahoo.com**

БЕГ ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

Игорь Померанцев

К сожалению, название радиожурнала “Поверх барьеров” придумал не я. К сожалению, потому что мне оно нравится, как все пастернаковские названия и заголовки. Про себя я называю по-пастернаковски почти все свои радиожурналы: Воздушные пути... На ранних поездках... Темы и вариации... Когда разгуляется... Лично мне неинтересно описывать культуру. А вот создавать, склеивать, выдувать культуру – работа захватывающая. Мне хочется, чтобы наше радио было чуткой мембраной, а не учителем жизни, чтобы оно решало задачи скромные, но трудные: профессиональные, акустические, жанровые. Кажется, “Свободе” перепало еще несколько лебединых лет. Вот бы спеть красиво...

ХВАЛА УХУ, ИЛИ ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ

Работа на радио вынуждает меня неустанно думать об ухе. Для нормального человека слышащее ухо – это нечто само собой разумеющееся, а глухота – отклонение, инвалидность. Между тем слух – это дар божий, и далеко не все им осчастливлены. Есть целые виды и подвиды глухих и даже безухих животных. Отсутствие слуха у них отчасти восполняется особой чувствительностью к сотрясениям. Они как бы слушают всем телом (брюхом, а не ухом). В конце концов, звук – это тоже сотрясение воздуха. Особой глухотой отличаются моллюски. Это уже не божий жар, а божья ирония. Напомню, что моллюск защищен наружным скелетом, который принято называть раковиной. Ухо же – не внутреннее устройство в височной кости, а оттопыренные хрящи, обтянутые кожей, анатомы называют ушной раковиной. Вот тебе и глухая раковина!

Об особо чутких людях в народе говорят: “Он слышит, как трава растет”. В русском народе говорят, а не в японском, хотя

подобная тонкость скорее присуща японскому хокку (у японского поэта звучало бы скромней: “Слышно, как трава растет...”). Русский глагол “слышать” соотносим с четырьмя из пяти органов чувств. Во-первых, можно в прямом смысле слышать (звуки), во-вторых, слышать вкус чего-либо (“язык не лопатка – слышит, что горько, что сладко”), в-третьих, слышать в значении осязать (“Девка и не слышала, как укололась до крови”, Некрасов), в-третьих с половиной, одновременно осязать и обонять (“В воздухе слышна сырость”), в-четвертых, обонять (слышать запахи). Добавьте к этому “слышать” в смысле “понимать” (“Он по-русски слышит”) и “слушаться” (“Слушаю, мой государь”).

И это еще не все. Французский семиотик и литератор Ролан Барт в коротком исследовании “Слушаю и повинуюсь” называет ухо эротическим органом человека. К такому выводу его подталкивает чтение “Тысячи и одной ночи”. В этой книге Шехерезада ночи напролет рассказывает Шахрияру сказки. Да, да, не лобзает его, не танцует танец живота, а убажывает слух. Ученые считают, что эти арабские сказки восходят к персидскому источнику, а последний – к индийскому. Должно быть, так оно и есть: иначе в Камасутре ушной (аурикулярный) секс не назывался бы “затмением луны”. Сколько все же поэзии заключено в ухе!

ОПЫТ НЕУДАЧИ

На радио я часто сталкиваюсь с проблемой запаха и разбиваюсь о нее. Однажды в Мюнхене я даже сделал передачу “Запах”. Я приправил ее музыкой Дебюсси “Звуки и ароматы в вечернем воздухе реют”. Звуки и впрямь реяли, но ароматов нос не слышал.

Хотя слово “эфир” попахивает спиртом, взывать в эфире к носу слушателя трудно. Поэты любят рассуждать о запахе слов. Да, слова могут пахнуть. Внюхайтесь: жасмин, укроп, тухлятина, апельсиновая корка (но не апельсин), моченое яблоко, гниль, винная пробка (но не вино! Вино – это цвет, причем красный). Тут вам на выбор всякая воня: и благовоющая и зловонная. Поэты пользуются этими обонятельными аурами слов.

“Вновь пахнет яблоком мороз”.

В этой строке Мандельштама слова “хруст” нет, но именно

хруст скрещивает “яблоко” и “мороз”, чтобы пахнуло душистой воней. Соломон в “Песне песней” действует грубей, сравнивая орган обоняния с источником аромата: “запах от ноздрей твоих, как от яблоков”.

Порой по радио удается передать запах. Например, похмелье можно донести перегарным хрипом А. Папанова. Но свою передачу о запахе я провалил. Нет, говорили все смачно. Француз вспомнил о колониальных лавках, набитых корицей, ванилью, кофе, стручками, зернышками и дерзко свел всю колониально-имперскую политику к борьбе за специи и ароматы. Англичанин говорил о запахах родного интерната, в котором юных джентельменов готовили класть голову и живот за империю: сладостно-гнилом духе уборной и плотно прилегающем к нему обонятельном обертоне – запахе вареной капусты (“Ни дня без капусты!”).

Украинский поэт, преодолев обиду на свою империю, возглашал: “Там русский дух, там Русью пахнет. Где это там? Русский дух веет, где хочет!”. А один из самых последних – эпохи перестройки – политзаключенных все той же империи, эстонский трубочист, сравнивал спрессованный смрад таллинской тюрьмы с запашками Крестов и стерильным, как в морге, духом пермской тюрьмы; любовно ворошил старое: “Если менты рядом с carcereм картошку и лук жарят, каждую лишнюю каплю подсолнечного масла чуешь... Или запах духов жены начальника по режиму, зубной врачихи, в тюремном коридоре... А мыло туалетное? Не тратить же его на мытье. Лучше понюхать...”

Но все это – сила слов, а не радио. Уже в Праге я вновь захотел, чтобы меня услышали носом: сделал передачу о сигарах. Их аромат я пробовал передать густыми клубами джаза, но, кажется, снова не дотянул.

NEWS

В молодости меня навывлет пронзили стихи Поля Элюара:

*Сьогодні вранці
Прийшла добра новина:
Ти снила про мене.*

Я жил тогда в Киеве и много читал по-украински. Язык – тоже новость, из самых пронзительных. Фрикативное украинское “г”, которому в русских анекдотах отведена роль холуя, закидывало удочку в арабский, в древнееврейский. Про удочку с многовековым грузилом я понял в Иерусалиме, услышав иврит и арабский. Фонетика не бывает случайной. На весах вечности фрикативное “г” перевешивает все носовые французского. Грамматика еще похлеще: украинское “ти снила про мене” на русском звучит беспомощно: “тебе приснился я”, “ты видела сон обо мне”.

Но я о другом: о жанре новостей. Я работаю на радио уже лет двадцать и перевел сотни выпусков новостей. На Би-Би-Си я предпочитал ночные смены. Начинались они после семи вечера, еще с машинисткой. Около девяти все уходило. Я спускался в подвальную столовку, где свет не выключали уже полвека и куда в начале сороковых спускался мой коллега из Индийской службы Джордж Оруэлл, молодецкато проходил сквозь столовку в холл, а там, помахав перед носом подвыпившего швейцара клубной карточкой, переступал порог клуба Би-Би-Си. Грубо говоря, этот клуб был распивочной, хотя и в высшей степени цивилизованной. У стойки я покупал бутылку бордо (“Черный принц”) и возвращался с этой полуоткупоренной бутылкой, укутанной в целлофановый мешок, в столовку. Оттуда с подносом (ростбиф, салат) и своим бесценным целлофановым мешочком поднимался на лифте в русскую редакцию (“Russian Service”). Там разваливался в кресле, клал ноги на стол главного редактора, наливал. Вот это было вино! С ним любая новость была в кайф. Последний бокал я допивал под трагический баритон обозревателя Би-Би-Си Анатолия Максимовича Гольдберга. На особой полке в отделе текущих событий стояла пленка с его комментарием на случай ввода советских войск в Польшу. Это был единственный комментарий Анатолия Максимовича, так никогда и не вышедший в эфир. До сих пор помню: “Увы, СССР остался верен себе. Сегодня после полуночи советские танки вошли в предместья Гданьска, Варшавы, Кракова..”

В залитом иллюминацией ночном Лондоне слова отбрасывали густые тени. Телетайп выдавал новости рулонами. Я отрывал их, механически переводил, а про себя бубнил:

Талант – единственная новость,
Которая всегда нова.

Пастернаковская “новость” тоже отбрасывала тень. Однажды меня озарило: этими двумя стихами Пастернак принял участие в полемике о романе. “Novel” по-английски – это “новый, неизданный”, а не только “роман”. В переводе с пастернаковского на русский получалось:

Талант – единственный роман,
Который всегда нов.

Моя тайная ночная жизнь в каморке новостника не мешала мне исправно переводить и читать в микрофон сообщения о нарушении прав человека, о сепаратистах и юнионистах, о захвате и освобождении заложников.

Эти ночные новости уже давно выпали в космический осадок. От них остался вкус бордо и привкус неправды. Нет-нет. Кто-то на самом деле уничтожал или миловал целые народы, где-то за кулисами мирового театра интриговали заговорщики, а герои, рискуя своей и чужой жизнью, разоблачали их. Но про самое главное в выпусках новостей никогда не говорилось: про то, что в Вероне юнец смертельно влюбился в юницу, что в Марракеше англичанин среднего возраста не может оторвать глаз от ключицы мальчика-араба, что в Киеве перевели на украинский стихи Поля Элюара:

*Сьогодні вранці
Прийшла добра новина:
Ти снила про мене.*

РАЗГОВОРЫ В КОНЦЕ ВЕКА

Глава из книги

От автора

Современная русская литература в долгу перед западными русскими радио. Она долго относилась к радио свысока. Радио

это терпело. Его горлом прошли годокилометры вольной прозы и публицистики. Радио свободных стран такого бы не потерпели: у радио свой язык, своя пластика. Оно может, когда хочет этого, быть жанром – богатым, выразительным, оригинальным. Я работаю в эфире уже двадцать лет. Иногда я кажусь себе воздушным гимнастом, иногда продавцом воздуха, иногда отчаиваюсь: работать на радио – все равно что зимой топить дом с выбитыми окнами и дверьми.

В студии я забываю, что я писатель. Работа со звуком может быть не менее захватывающая, чем работа со словом. Но образ “художника звука” мне кажется куда драматичней, нежели образ “художника слова”: твой голос, дыхание по законам физики безвозвратно выпадают в космический осадок. В последние месяцы я работаю над книгой по своим передачам (радио “Свобода”). Возможно, это вызов законам физики и слову “безвозвратно”. Утраты в такой работе неизбежны: устное слово без акустических красок на бумаге мелеет, ссыхается. Но кое-что порой остается. Когда в этом “кое-что” происходят драмы, дышит почва и судьба, радио становится литературой.

15 октября 1998

МОЙ ПАПА - ГЕНИЙ

Ведущий Игорь Померанцев

Участники разговора: О.С.Прокофьев (художник), Д.В.Набоков (оперный певец, переводчик)

Родиться в семье гения - удел не многих. Прожить жизнь, неся бремя родительской гениальности, своего рода подвиг. Злые языки говорят, что природа отдыхает на детях гениев. Пусть это будет утешением для злых языков. Два сына, которые участвуют в этом разговоре, - люди, состоявшиеся каждый по-своему. Начнем с Олега Сергеевича Прокофьева. Он родился в Париже в 1928 году в семье композитора и певицы. С 1936-го по 1971-й жил в Москве, а с 71-го по сей день живет в Англии. Олег Прокофьев –и художник, и поэт. Наш разговор начался с вопроса, когда Олег Сергеевич понял, что отец у него не совсем такой, как у других.

– Довольно поздно, потому что в моем детском представлении, ну, был отец - строгий, хотя в то же время мог быть и внимательный, и добрый, но ужасно занятой. Если он работает, значит нельзя шуметь. Когда мы играли с братом, нас предупреждали: не шумите; а уж если его оторвешь от работы, то берегись - Божья кара, ну, прозаически, придет и нас отшлепает. Между прочим, когда мне было семь лет и меня спрашивали, чем он занимается, я говорил: “Папа нотки пишет”. Но первые подозрения – мол, что-то не то - у меня появились, когда мне было лет девять. Уже в Москве я играл во дворе с другими мальчишками, и они дразнили меня: “А что твой папа делает, сын к о н п о н з и т о р а? И вот это “коНпоНзитор” как-то задевало. И только когда уже в 38-м году вышел фильм “Александр Невский”, к которому он музыку написал, то вдруг в отношении мальчишек ко мне появился какой-то оттенок уважения.

– *Отец говорил с вами о музыке? Учил вас играть или читать ноты?*

– В начале и меня, и моего старшего брата учили музыке - играть на рояле. Но мы... мы оба отлынивали от этого, нам как-то неохота было этим заниматься. В общем, ему скоро надоело нас заставлять: в конце концов, он-то научился музыке по своей воле, просто слушая, как его мать играет.

– *Вам нравилась в детстве музыка отца?*

– Скорее я к ней привык. Ну вот если спросить мальчика: “Тебе нравится дом, в котором ты живешь?” Конечно, он скажет: “Нравится.” Все с этим домом связано, свое пространство, свои игрушки. И музыка была частью дома. До такой степени я к этому привык, что впоследствии, когда стал интересоваться вообще музыкой, то как-то все делилось на музыку отца и - остальную.

– *Вы любили тех же композиторов, ту же музыку, что и отец?*

– Вы знаете, да. Единственным современным композитором, которого он действительно ценил, был Стравинский. И для меня долгое время Стравинский тоже был один из любимых современных композиторов. А вот если взять венскую школу - Шенберг, сюрреалисты, то к ним он был совершенно равнодушен. И поэтому, когда я ими заинтересовался, то я преодолевал какое-то сопротивление. А вот Вагнер - это я уже самовольно, что ли, из

духа противоречия.

– Вам было семь лет, когда вас привезли в 36-м году в Советскую Россию. Это решение обсуждалось в семье? Что вы знали тогда об этом?

– Конечно, с детьми это не обсуждалось. Но, по-моему, даже с моей матерью, когда об этом отец говорил, то она ему сказала: “Сережа, если ты считаешь это нужным, значит нам надо ехать туда”. Но нас, детей, это увлекало, конечно. Это был какой-то новый мир, переезд в другую интересную страну. Нас бабушка учила русскому языку...

– А впоследствии вы никогда не упрекали отца в том, что он привез вас в Москву?

– Я думаю, что упрекали уже посмертно. Такая была жизнь, что было не до упреков, конечно. Этот вопрос все равно не обсуждался.

– В сорок восьмом году Жданов подверг Сергея Прокофьева жестокой критике. Вы испугались за отца, за себя?

– Вы знаете, я лично в сорок восьмом году не испугался. Наверное, я просто не мог себе представить, и даже после ареста моей матери я не мог себе представить, что со мной может такое случиться. Что касается отца, конечно, я видел, как было ему трудно и тяжело. Я как бы понимал, что он под огнем. Ну, а я вроде нет. В школе все шло по-прежнему, меня не трогали. Я вспоминаю один случай. Первое мая 48-го года. Демонстрация. Я со школой пошел на демонстрацию. Знаете, как водилось: сперва много часов ходишь по улицам Москвы. Я встретился совершенно случайно с сыном композитора Шаталина, который был тогда ректором консерватории и тоже был под ударом этого постановления. И вот мы с Колей Шаталиным, старшим сыном, страшно обрадовались друг другу как два человека, которые понимают, что произошло, и мы так горячо обсуждали, ну, так сказать, человеческую подлость, предательство, несправедливость всего этого дела. А кругом праздник, Первое мая, яркий солнечный день.

– Ваша мать была арестована и осуждена в сорок восьмом году. Недоброжелатели Прокофьева утверждают, что он и пальцем не пошевелил, чтобы облегчить ее участь. Вы говорили с отцом об этом?

– Начнем с того, что отец мой ничего не мог бы сделать все

равно, понимаете? Я с ним лично об этом не говорил тогда. С меня было достаточно, что мы с братом пришли к нему и выложили эту страшную новость. В ту пору он уже с нами не жил, он жил отдельно. И вот мы к нему пришли и сообщили: “Маму арестовали”. Это спустя неделю после постановления о музыке. Он, наверное, боялся. И не зря. Он чувствовал, что его тоже могут арестовать. Понимаете, мне кажется, что просто его нельзя винить в том, что он ничего не мог сделать.

– *У вас есть чувство локтя с детьми других гениев? Вы хоть иногда видите в Максиме Шостаковиче своего близнеца?*

– В какой-то степени да. Мы оба как бы пережили очень схожие обстоятельства. И отношения к отцу - знаменитому, оригинальному и так далее, и вот мы, так сказать, забытые отпрыски.

– *Олег Сергеевич, вам не в тягость всю жизнь быть сыном, нести бремя фамилии и отчества?*

– В какой-то степени да, хотя я уже к этому привык. Но видите ли, я сам работаю в искусстве. Правда, я выбрал то, чем отец не занимался: живопись, скульптуру. Очень часто даже здесь, на Западе, меня так и рассматривают - как сына композитора, сына знаменитости. Недавно у меня была выставка, по поводу которой один критик написал примерно следующее: что вот, мол, он вырос в семье музыканта, но у него самому есть что сказать, свое, оригинальное. Это почти извинительно как-то звучит. Но я хочу отметить еще такой интересный момент. Когда несколько лет назад мне исполнилось ровно столько, сколько было отцу, когда он умер, то я вдруг испытал странное облегчение, словно иго отцовского гения, эта ноша, которую я всю жизнь ношу, как-то с меня спали. Я вдруг стал старше моего отца.

Второй мой собеседник - Дмитрий Владимирович Набоков. Он оперный певец, переводчик, литератор. В последние годы занимается, главным образом, литературным наследием отца. Наш разговор начался с вопроса, на каком языке Дмитрий Владимирович заговорил.

– Говорили мы в семье по-русски, пока мне не исполнилось шесть лет. В шесть лет мы оказались в Нью-Йорке, я вернулся из

школы в первый день, американской школы, и объявил маме: сегодня я научился говорить по-аглички. Позже, действительно, я научился довольно быстро по-аглички говорить и писать, иногда щеголял дома выражениями, которые слышал в школах. Русский остался основным языком домашним, но были и фиоритуры французского и английского. Но, как и мой отец, думал я всегда и думаю образами, представляю себе мысленные картины. А сны мне снятся всегда цветные, как и ему снились.

– *Вы спрашивали отца, кто вы - русский, американец, швейцарец?*

– Вы знаете, швейцарцем в те годы я не мог быть, поскольку эту чудесную страну стал посещать только в шестидесятых годах, а мои родители в Швейцарии обосновались в 61-м. Но вообще кризиса национальности у меня, никогда не было. Микрокосм, идеальность счастливой семьи на своеобразной русской почве, если хотите, заменили нужду к чему-либо принадлежать. Вместе с тем горжусь своим синим американским паспортом. Вспоминаю с радостью синие американские горы, появлявшиеся на горизонте, как миражи. Горжусь гарвардским образованием. Люблю Америку со всеми ее недостатками. С радостью провожу часть года у себя под флоридским солнцем.

С Италией я познакомился, когда мне было двадцать пять. Я приехал выступать, кончать музыкальное образование, и с этой страной у меня навсегда осталась душевная связь. Я выступал на оперной сцене и даже на кинематографическом экране. Переводил и продолжаю переводить сочинения моего отца на итальянский. Участвую в автомобильных и моторно-лодочных гонках. Сохранил за собой не только домик на Сардинии, но и самое главное: невесту-сотрудницу, у которой гениальный мозг славистки, созревшей на средиземном солнышке.

– *В англоязычном мире вашего отца признали сравнительно поздно. В семье у отца был ореол непризнанного гения?*

– Он думал о писании, а не о признании. Ореол гения от этого не меняется.

– *Ваш отец сочинял шахматные задачи, придумывал крестословицы. Вы принимали участие в этом, вы решали эти задачи?*

– Отец меня научил играть в шахматы, основам игры. Но сам

признавал, что играть серьезно представляет собой огромную трату времени. Вспоминаю, что иногда под его руководством решал задачи, так называемые миниатюры. Вспоминаю с нежностью, как просил папу не поддаваться, когда мальчиком сидел с ним за шахматной доской. А шахматистом я никогда не стал. На собственные увлечения времени не хватает.

– *У вас был сачок? Вы ловили вместе с отцом бабочек?*

– Был, был свой сачок. Ходил с отцом. Даже благодаря отцу вместе появились на некоторых этикетках гарвардской коллекции. Подарил Лозаннскому музею то, что казалось маленькой коллекцией, а оказалось четыремья тысячами экземпляров. Это последняя папина коллекция, оставшаяся после его смерти. Сохранились и папины (впрочем, бывшие дедушкины) турнирные шахматы, а также перчатки, в которых отец учил меня боксировать. Но энтомологом я тоже не стал.

– *Разные отцы по-разному воспитывают своих детей: кто ремнем, кто нравоучением. Как ваш отец воспитывал вас?*

– Без ремня. С нежностью, с юмором. Как бы ни был погружен в сочинение романа, всегда имел для меня время. Каким бы знанием со мной ни делился, выражал мысль, будь то простую или сложную, оригинально и забавно, как и моя мать. Делился со мной счастьем, оптимизмом, юмором, честью и гением. Многие эти качества в нем ценят. Другие не могут ему простить, как не могут примириться с тем, что его гений наконец был признан, и он дожил жизнь в тепле идеального семейного счастья.

Существует, например, особа, которая ходит в биографах Набокова и даже цитируется московским журналом “Наше наследие”. Это так называемая княгиня. О княжеском происхождении этой яростной антисемитки, между прочим, ненавидящей мою мать, кажется, мог бы кое-что сказать еврейский помещик, сосед семьи по имени, если бы еще был жив. Эта особа после пятнадцати лет дружбы с Набоковым и с его женой посвятила следующие пятьдесят лет сбору издалека архива, состоящего исключительно из сплетен и гадостей про моих родителей. Она даже не знает, что я знаком с этим архивом. И даже призналась одному настоящему биографу, что ее книжонка написана на самом деле против Веры Набоковой.

– *Вы могли войти в рабочий кабинет отца, или этот каби-*

нет был святая святых?

– Запретов таких у нас не было. Но я рано научился тому, что зря мешать не нужно. Со временем отец стал поручать мне переводы русских и иногда проверку своих английских произведений.

– Вкусы отца - литературные, музыкальные - сказались на ваших вкусах?

– Литературные - да. Начиная с “Ани в стране чудес”, папиного перевода Льюиса Кэрролла. Это одна из первых книг, если не первая, с которой я познакомился маленьким мальчиком. Потом были Пушкин, Шекспир, Толстой, Гоголь, Флобер, словом, классики. И кончая томиком Мюссе, который папа принес ко мне в комнату незадолго до смерти.

Музыкальные – менее. Отец говорил, что больше всего ненавидит в жизни опрессию, жестокость, глупость, грязь и бессмысленный музыкальный фон. Несмотря на это, он приехал на мой дебют, когда я выиграл музыкальный конкурс в Италии и выступал в “Богеме” с Паваротти. Он признавался мне, что любил некоторые произведения, где либреттисты и композиторы выражали уважение к автору, например, “Борис (Годунов, – *ред.*)” или “Кармен”.

– В каком возрасте вы прочли “Лолиту”, и открылось ли для вас что-то новое в отце после прочтения этого романа?

– Я читал папины произведения сразу после их выхода. А в каком смысле “что-то новое”?

– Для вас было неожиданностью то, что отец написал о любви к девочке?

– Ну, знаете, мне уже было сколько? Я кончал Гарвард или уже кончил. Я был знаком с писательской философией отца, если можно так сказать. Его изучение аберраций психических, физических, как в карлике “Картофельного эльфа”, – это изучение было преломлением мира, ученый анализ этого мира. Педофилия – это одна из многих аберраций. Если приписать автору то, что он пишет, то тогда каждый автор книги - убийца или самоубийца.

– Вы узнаете себя, свои слова, свои поступки в романах и рассказах отца?

– Вы знаете, рассказ “Lance” был написан отчасти про меня и выражает своеобразные переживания моих родителей, когда они

ожидали меня у подножья гор, где я лазил. Это выражает...тоже здесь преломление - жизнь в терминах астронавта, задолго до прихода настоящей эры астронавтов. А в "Лолите" есть маленькие выражения американских тинейджеров, которые я приносил домой в те годы.

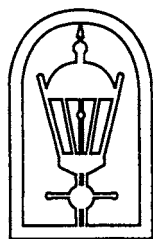
– Вас часто спрашивают, не сын ли вы того самого Набокова?

– Да.

– Для вас это бремя или счастье - быть сыном Владимира Набокова?

– Бремя, когда несмотря на агентов и секретарш, приходится тратить время и силы на вздорную рутину, когда пошляки и пираты искажают искусство и личность моих родителей. Радость, когда я перевожу Набокова или другие переводят и издают прилично. Бремя, когда ставят глупенькие вопросы, радость, когда вопросы умные.

**Старейшее в Новой Англии
русскоязычное
рекламно-информационное
издание**



Бостон • Русский Бюллетень

выходит ежемесячно с 1989 года

Boston • Russian Bulletin

P. O. Box 1819

Brookline, MA 02446-0015

United States of America

telephone: 617-277-5398

fax: 617-277-7102

email: ilyal@world.std.com

<http://www.RussianMass.com>

ВИНЕГРЕТ

Игорь Иртеньев

* * *

Что-то главное есть в винегрете,
Что-то в нем настоящее есть,
Оттого в привокзальном буфете
Я люблю его взять да и съесть.

Что-то в нем от холодной закуски,
Что-то в нем от сумы и тюрьмы.
Винегрет – это очень по-русски,
Винегрет – это, в сущности, мы.

Что-то есть в нем, на вид неказистом,
От немеренных наших широт...
Я бы это назвал евразийством,
Да боюсь, что народ не поймет.

* * *

Я не ханжа, не фарисей,
И твердо заявляю это:
Мы впереди планеты всей
Не только в области балета.

Чтоб не прервалась жизни нить,
Чтоб не накрыться медным тазом,
Мы пили, пьем и будем пить
Наперекор любым указам.

Ввиду отсутствия дорог
Метафизическое пьянство
Есть не общественный порок,
Но пафос русского пространства.

Мы проспиртованы насквозь,
Внутри нас все перебродило,
Но знаменитое “авось”
Ни разу нас не подводило.

* * *

Гей ты, Петр Афанасьич,
Удалой наш куренной
Ты лежишь, упавши навзничь,
Из груди сочится гной.

По Донской степи ковыльной
Стелет сотня злой намет,
Телефон звонит мобильный,
Друга милого зовет.

Аль и впрямь даешь ты дуба,
Сердце греючи врагу,
Так кому ж теперь мы “любо!”
Грянем хором на кругу.

Кто, коня огревши плетью,
Рубанет жида сплеча
В атаманском кабинете
Под портретом Ильича.

Вороной твой “шестисотый”
Над тобой копытом бьет.

Весь ты век прожил босотой,
Все отдал ты за народ.

Ты весь Дон прошел с боями,
А оставил по себе
Лишь недвижимость в Майами
Да расписку в КГБ.

* * *

В условиях полного засранства
Верхов и немощи низов,
Какая тут любовь пространства,
Какой тут будущего зов.

Пройдет зима, настанет лето,
Потом опять придет зима...
По жизни важно только это.
Все остальное – от ума.

НОВИНКИ КНИЖНОГО РЫНКА

- Галич А. “Вечный транзит” Екатеринбург: У-Фактория, 1998. – 656с.
- Веллер М. “Все о жизни” СПб.: Нева, 1998. – 752с.
- Павич М. “Хазарский словарь” СПб.: Азбука, 1998.
- Кузьмин М. “Дневник 1934 года” СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1998. – 414с.
- Кушнер А. “Тысячелистник” СПб.: Блиц, 1998. – 470с.
- Евтушенко Е. “Волчий паспорт” М.: Вагриус, 1998. – 572с.
- Козлов А. “Козел на Саксе” М.: Вагриус, 1998. – 444с.
- Никулин Ю. “Почти серьезно...” М.: Вагриус, 1998. – 572с.
- Нагибин Ю. “Неизвестное кино” М.: Подкова, 1998. – 704с.
- Рохас К. “Мифический и мистический мир Дали” М.: Республика, 1998. – 303с.
- Саакянц А. “Спасибо Вам! Воспоминания. Письма. Эссе” М.: Эллис Лак, 1998. – 608с.
- Солженицин А. “Россия в обвале” М.: Русский путь, 1998. – 208с.
- Профессора военно-медицинской (медико-хирургической) академии (1798-1998). СПб.: Наука, 1998. – 316с.
- Лотман Ю.М. “Об искусстве: структура художественного текста; семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления.” СПб.: Искусство, 1998. – 704с., ил.
- Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб.: Antheum; Феникс, 1998. – 736с., ил.

ПРИНИМАЕМ ПОДПИСКУ

**на любые издания России и СНГ
начиная с любого месяца.**

**При подписке на три и более изданий даётся 5% скидка.
Доставка осуществляется почтой США (принимаем credit cards)**

Тел. 617-625-3635, e-mail: PanoramRus@aol.com

ЗАКАТНЫЕ ГАРИКИ

Игорь Губерман

* * *

У гибели гуляя на краю,
к себе не пребывали мы
в почтении,
сегодня я листаю жизнь мою,
и волосы шевелятся при чтении.

* * *

Безоблачная старость – это миф,
поскольку наша память –
ширь морская.
И к ночи начинается прилив,
со дна обломки прошлого таская.

* * *

Я лягу в землю плотью смертной,
уже недвижимой и немой,
и тени дев толпой несметной
бесплотный дух облепят мой.

* * *

А мужикам понять пора бы,
напрасно рты не разевая,
что мирозданья стержень – бабы,
чья хрупкость – маска боевая.

* * *

Есть бабы из диковинного теста,
не молкнет в них
мучительная нота:
жена и мать, но все еще невеста,
и сумрачное сердце
ждет кого-то.

* * *

Во всех веках течет похоже
сюжет, в котором текст не нужен
и где в конце одно и то же:
слеза вдовы и холм над мужем.

Игорь Губерман в США и в Канаде

23 января – 14 февраля 1999 года

23 янв. Лос-Анжелес

213/9375530

24 янв. 13-00 Пало-Алто

408/2601042

18-00 С.-Франциско

408/2601042

26 янв. Атланта

770/6219093

27 янв. Нешвилл

615/6623910

28 янв. Индианаполис

317/8486203

30 янв. Детройт

248/8650204

31 янв. Чикаго

847/2723913

3 февр. Торонто

416/4913014

4 февр. Питтсбург

412/4228311

5 февр. Кливленд

724/3273463

6 февр. Нью-Йорк

718/7693333

7 февр. Филадельфия

215/72228645

10 февр. Хартфорд

860/2323867

13 февр. Бостон

617/9651673

14 февр. Вашингтон

301/5641638

СЧАСТЛИВАЯ НЕСЧАСТНАЯ РОССИЯ ГАЛИЧА

Лев Аннинский

*Но когда под грохот чужих подков
Грянет свет роковой зари –
Я уйду, свободный от всех долгов,
И назад меня не зови.*

*Не зови вызволять тебя из огня,
Не зови разделить беду.
Не зови меня,
Не зови меня...
Не зови –
Я и так приду!*

Александр Галич, “Песня об Отчем Доме”

В аэропорту он лез в драку с таможенниками, отказываясь отдать им православный крест, кричал, что останется, пойдет гнить в лагерь, сядет в психушку, но креста не снимет.

На Западе он услышал от Зинаиды Шаховской фразу: “Мы не в изгнании – мы в послании” – и, как заклинание, повторял ее до самой гибели.

Клеймо изгнанника, диссидента, антисоветчика носил с гордостью. Единственный русский бард, высланный властью за песни, он крепился в своей ненависти, как мог, демонстрируя ее в каждой строке. Возникало ощущение бешеного политического темперамента. В песнях топтались топтуны, вертелись вертухаи, целились в людей курвы-нелюди, собачились рублевые, мельтешили шлюхи с алкашами. Гуляла обслуга.

Этот ненавидимый мир был выстроен снизу доверху. До са-

мого верха властной вертикали – до того этажа, где в сизом маре-реве маячит начальство, ущученное прямо в его нелюдских аббревиатурах: ВПШ... МИД... ЦК...ОВИР... Начальство, замазанное персонально: “Член ПБ т. Полянский”, это, конечно, запредельный пример “наглости очей”, куда более вызывающий в 1973 году, чем непрерывное присутствие “товарища Сталина” на заднике любой картины несколькими десятилетиями раньше.

Застукано начальство у Галича непременно в момент расслаба: в баньке, в постельке... Что еще оскорбительно: оно раскрыто исключительно через желудок. Выпивон и закусь – фирменные занятия, описанные с большим знанием дела: “КВ-коньячок”, икра, балычок, севрюжатинка, цыплята табака, бланманже. Уровнем ниже вохра рубает кекс “Гвардейский” и печенье “Салют”. Еще ниже – море коммуналок: тут берут ноль-восемь первача, жрут водяру под супец, шампанское под килечку. Шашлык отрывается свечкою, сулугуни воняет треской.

Создается ощущение неприкрытой, незамаскированной, ободранной реальности, прямо, так сказать, пересаженной в песню.

Ощущение, подкрепленное грубостью словесного антуража, с обилием имен собственных, невзначай оброненных в шегольской стих, а также балладной настройкой, то есть тем, что в песне всегда рассказывается какая-нибудь “история”, а иногда откровенно имитируется тюремный роман.

Но эта шершавая, кровотокающая, выведенная на грань политического “токовища” фактура все время наталкивается в сознании слушателя на неистребимое ощущение искусности представляемого зрелища. Неуловимая филигранность отделки (неуловимость-то и выдает изысканного мастера, у нормального ремесленника все очень-таки уловимо), тончайший просвет между повествователем-рапсодом и его блажащими персонажами может поставить слушателя-читателя в тупик и вместе с тем должно пленить его душу:

*И рубают финики лопари,
А в Сахаре снегу невпроворот!
Это гады-физики на пари
Раскрутили шарик наоборот!*

Что это? Взаправдашний разговор истопника и маляра, которые взяли “Дубняка”, мешают его с “Жигулевским” и гудят? Или игрушечная модель мироздания, Вселенная, уложенная в миниатюру с такой искусностью, которой позавидовали бы и физики, играющие с атомными моделями?

Прислушиваясь и приглядываясь, начинаешь ловить у Галича потаенные сигналы, подсказывающие правила игры. Это верно: шлюхи с алкашами. Но рядом - “кивера да ментики”. Шарманка с обезьянкой и тонюсенький голосок, возносящийся из ада реальности к Богу. И Бог, который, разумеется, “пьет мертвую”, но все-таки непременно обозначен на заднике картины (где перевернуто обозначен все тот же “товарищ Сталин”).

Так, может, это вовсе не реальность “как она есть”, а фантазмагория? Игрушечный звон бубенцов? Бури вернисажные, паводки премьерные? Шутовские процессии? Узор, вытканый на ковре по готовому рисунку: реальность, дважды, трижды преломленная, буквы, зажившие автономной жизнью, ломкость и прочность строки – стать строки, суть строки?

*Где стоят по квадрату
В ожиданье полки –
От Синода к Сенату,
Как четыре строки?!*

Это не каре декабристов, уложенное в строки; это строчное каре, разыгранное декабристами.

Уникальное сочетание витального напора, бьющего снизу, и игры, которой все это оборачивается.

Андрей Синявский спрашивает Галича:

– Откуда у вас такое поперло?

Подразумевая: из “ничего”...

Галич разводит руками:

– Да вот как-то так, сам не знаю... поперло, поперло, и все...

Он, может, и “не знает” – верхним сознанием, и даже искренне удивляется “напору” материала, возникающего из “ничего”. Но интуицией поэта знает главное: закон жанра, в котором преломляется закон мироздания.

Только иногда, разыгрывая очередную “историю” (как мили-

ционерша Л. Потапова вышла замуж за эфиопского принца; или как псих мечтает: “то ли стать мне президентом США, то ли взять да и окончить ВПШ”), рисуя такие-разэтакие тюремные романы, вздохнет укладкой:

О, Боже мой, Боже мой, Боже! Кто выдумал эту игру?

И мы, затаив дыхание, задаем себе тот же вопрос: о Главном Выдумщике. Критики, зацикленные на том, что в бардовскую поэзию Галич пришел из театра, что он был профессиональным актером, что его пьесы и фильмы по его сценариям шли в свое время по всему Советскому Союзу, объяснили его песенный секрет тем, что он пересадил “одно в другое”: дескать, перед нами Театр. Театр Одного Актера. Действо, разыгранное по законам одноактной пьесы, скетча, водевиля.

В первом приближении это, конечно, так. Но надо еще эту метонимию положить на “музыку стиха”.

Со свойственной ему виртуозностью это сделал Андрей Синявский в очерке о поэзии Галича на радио “Свобода” в ноябре 1975 года:

“На вырубленное и выжженное место пришел одинокий поэт, затейник, с обшарпанной гитарой в руках, тяжело переставляя ноги, задыхаясь”.

Что “затейник” – понятно. Интереснее объяснить другую поразительно точно учуянную Синявским черту ситуации. Затейник – одинок.

Может ли “площадной певец” быть “одинок”?

“Есть магнитофон системы “Яуза” – этого достаточно”?!)

Как совместить вспыхнувшую подобно степному пожару популярность Галича (в 60-е годы его голос побегал по магнитофонной ленте от дома к дому) с обликом “усталого волшебника”, не смешивающегося с толпой, – пусть даже с толпой поклонников?

Галичу было под пятьдесят, когда “все это” началось. Пик был в мае 1968 года: Галич – звезда Первого Фестиваля бардов в Академгородке под Новосибирском. Сразу уже после этого начинаются запреты, и слава, стремительно вспыхнувшая на том фестивале, так же стремительно уходит в “андеграунд”.

Стоять под софитами Галичу, профессиональному актеру, привычно.

“Высокий, стройный, в небрежно повязанном поясом сером мохнатом пальто, с небольшими усиками над яркими губами гурмана – казалось, своей аристократичностью он должен был шокировать плебейское братство бардов... Ан нет! Он-то и был бардом номер один”.

Виктор Славкин, увековечивший этот триумф в своей эффектной зарисовке, не объясняет второй половины уравнения. Что аристократ-сказочник, усталый затейник возвышается над небритой Россией “шестидесятников”, это понятно. Но почему “плебейское братство” принимает его песни как свои и приходит от них в восторг?

Эффект театрального представления?

Синявский объясняет: перед нами – великий Актер, который сам себе и театр, и декорация, и драматург-импровизатор. “Синтез в одном лице”.

Отсюда – магия текста. Текст замыкается в объеме миниатюрной драмы, внутри которой рассажен еще и миниатюрный зал (“А из зала мне: “Давай все подробности!”), и непременно кто-то кого-то слушает, и весь рассказ – сплошная байка.

Ощущение кулис, задника, суфлерской будки.

“Стихи не просто поются, то есть растягиваются, как это бывает обыкновенно в романах, но перебирают ногами, играют всем телом, упражняются и укореняются в ритме и мимике.”

Акцентированность драматургических ходов и жестов оттуда же – из театра.

А. Синявский:

“На театре, знаете, не разгуляетесь – десять метров, пять минут... Железный закон сцены, чтобы долго не прохлаждались, но, произнеся положенные реплики, проваливались бы в люк, укрепляя осознание ящика, куда все укладывается, сценической площадки, пускай и разъехавшейся, выражаясь фигурально, на полсвета, но все-таки площадки, пространства, которое только потому мы и воспринимаем, что оно измеряется границами, стенами, точным началом и безусловным концом инсценированной на подмостках, в трех измерениях, песенки”.

Рифмы – физиологически ощутимые – защелкиваются на концах строк или, вернее, отщелкиваются. “Не какие-нибудь глазные”, а – ананасами-ассонансами оперяющие строфу. “Ка-

кое-нибудь редкостное или жаргонное словцо... подобное затвору... на закушенном, взятом за горло слове”.

Гениальный слух моего учителя Синявского уловил в песенной стихии Галича то, что спрятано за пределами стихии, алкашно-бандитской стихии, вернее – на пределах: на гранях, на границах пространства “гульбы”, ей, “гульбе”, как раз и обозначены здесь тайные пределы.

Стенки. Задник. Ящик.

Замкнутость – лейтмотив. Возврат – лейтмотив.

Пространство не разворачивается, а сворачивается.

В контраст “разбеганию” романтиков-шестидесятников – ощущение плена, духоты, сдавленного горла.

“Цыганский романс” Галича вроде бы перекликается с подобными мотивами у Анчарова: и там, и тут человек “встречает Бога”. У Анчарова от этой встречи душа раскатывается в бесконечность, в сквозящий космос. У Галича – схлопывается в замкнутость, заваливается в “Божий мир”, как в чадный трактир.

“Говорят, что есть на свете острова, где растет на берегу забудь-трава”, – поет Галич, и совершенно ясно, что это не просто выдумка, а выдумка, представляемая нам именно как выдумка, и ничего больше. Визбор в аналогичном случае поет: “Глянь: страна Хала-Бала!” – выдуманная страна у него выводит душу на шутовской простор. Галич же вводит душу в шутовскую клетку, из которой нет выхода. Оба шутят, но какой контраст мотивов!

Бандит-спортсмен, сносящий с ног заграничного соперника, – это же почти вариация Высоцкого! Но у Высоцкого такой бандит действует от полноты собственной дури, и Высоцкий с ним себя – солидарный от полноты чувств – ассоциирует. А у Галича над бандитом-спортсменом маячат всякие “федерации, хренации”, они его дергают за ниточки, как марионетку, и с кем ассоциирует себя автор, усталый волшебник, определить невозможно: он возвышается надо всем, словно хозяин кукольного театра. Или как Бог; пусть даже и похожий на пропойцу.

Мотив подмены тут – постоянный. У Городницкого “атланты держат небо на каменных плечах”, и поэт держит небо вместе с ними, и слушатели – тоже. У Галича эта ситуация изначально предстает как профанированная:

*Я спросонья вскочил – патлат,
Я проснулся, а сон за мной,
Мне приснилось, что я – атлант.
На плечах моих – шар земной!*

И никакой безбрежности, и никакого “неба” – все немедленно загоняется в ящик, в досье, в бесовскую “кагебешную” картотеку.

Окуджава, когда поет о солдатике, даже о бумажном, – он ведь тоже себя с ним ассоциирует. Галич не ассоциирует себя ни с кем из своих персонажей. Солдаты шагают в ногу – мост обрушивается. Потому что надо всеми – “колебательный закон”.

Закон. Бог. Федерации-хренации. ЦК. КГБ. ВПШ. Бесовщина всеобщей подмены.

По неотменимой традиции Галич салютует и Вертинскому – предтече предтеч. Прямая переключка: “Нам “ужин прощальный” - не ужин, а сто пятьдесят под боржом”. У Вертинского ужин – мистическая трапеза; у Галича – подменная профанная “закусь”. У Вертинского – наив. У Галича – горькое знание: “бумажная роза” засунута в “оскаленный рот”. У Вертинского роза – настоящая, хотя все думают, что – бумажная. И бриллиант там – чистой воды, хотя все уверены, что – бижутерия.

А Галич знает, что все это именно бижутерия. Что этот театр, этот балаганчик, этот “трактир” – сплошная подделка. Несмываемый грим: добро на самом деле – зло, а зло на самом деле – добро. Правда неверна, а неправда верна. Черное означает белое, белое – черное, и “веселая ртуть” играет роль серебра.

Не потому ли в 1968 году и внемлет Галичу так заморожено “небритая братия” шестидесятников-романтиков, что чувствует в его опыте то, что ей не дано: знание тайных пределов?

Нет, Галич – это не “театр одного актера”. Это религиозное действие катакомбного жанра. Страсти Христовы, разыгрываемые марионетками как бы в шутку. Сублимация искренних слез, не находящихся иного выхода, кроме пещерного лицедейства. Замкнутое пространство, ящик, камера, погреб, клетка, пенал. Вертеп.

В роли Господа Бога – одинокий хозяин театра, усталый затейник “с обшарпанной гитарой в руках”.

*Над блочно-панельной Россией,
Как лагерный номер – Луна...*

Это же классически традиционный вертеп, только выстроенный из “современных материалов”.

*Ой, не надо “скорой помощи”!
Нам бы медленную помощь!
“Скорый” врач обрезал помочи
И сказал, что помер в полночь...*

Это же классически традиционный крик шута, размазывающего морковный сок, но знающего, что за порогом театратора убивают по настоящему:

*И черные кости лежат на столе,
И кошка крадется по черной земле
На вежливых сумрачных лапах.
И мне уже дверь не успеть запереть,
Чтоб книги попрятать и воду согреть,
И смыть керосиновый запах!*

Чистая алхимия, пляска символов, кабастика магических действ. А ощущение – страшной реальности. словно бы хозяин балаганчика, разыгрывающий представление с ученым котом, сам вот-вот попадет туда, внутрь вертепа, и не морковный сок потечет из ран, а настоящая кровь.

Однажды с ним это произошло. Реально, как эмпирический факт. Но, поскольку впоследствии было превращено в поэтическую новеллу и включено главой в повесть “Генеральная репетиция”, стало ярким художественным эпизодом в хождении души по мукам.

Ночью в ленинградской гостинице – приступ стенокардии.

Вызванный врач “неотложки”, коновал из вертепа, делает укол и уезжает, занеся на игле тяжелейшую инфекцию.

Температура – за сорок.

Привилегированные больницы – за заборами. Устроен по благу в общую: в палате на тридцать человек все кровати заняты,

мест нет. Поставили каталку посередине. Вертеп.

Пришел заведующий отделением, старичок-татарин. Привел хирурга – пожилую русскую женщину с широким, добрым домашним лицом.

Ангел вертепа – Анна Ивановна Гошкина.

– Ну, поехали! – мирно сказала Анна Ивановна и повезла бездыханного в операционную – спасать.

Спасла. Поставила на ноги.

И пошел бард своими ногами в Дубовый зал ЦДЛ, где дубы-начальники исключили его из Союза Писателей.

Глядя на их подлые лица, он вспомнил лицо своей спасительницы. Представил ее здесь, среди мучителей. И сказал себе правду: если бы она оказалась на этом судилище и услышала бы про его связи с сионистами и заигрывания с церковниками, то проголосовала бы вместе с подлецами за исключение.

Поняв это, изгнанник воззвал:

– Бедная, счастливая, несчастная Анна Ивановна! Вы давно привыкли к правилам этой подлой игры. Вы читаете на ходу газеты, слушаете – не слыша – радио, сидите долгие часы на профсоюзных и партийных собраниях. Смертельно усталая, вы голосуете за решения, смысл которых вам не очень-то понятен и уж вовсе не важен. Вас закружили в этом шутовском хороводе, и у вас нет ни времени, ни сил выбраться из него, остановиться, встряхнуть головой, подумать...

Почему не положен этот проникновенный лирический монолог на музыку? Готовая ж песня, не хуже “Тонечки”, “Леночки”, “Красной шапочки” или “Красного треугольника”...

Или что-то остановило?

Какая-то смутная догадка... А что, если не потому голосует Анна Ивановна Гошкина “как надо”, что ее закружили и ей некогда подумать, а по другой, более глубокой, причине? И если бы остановилась, вникла, то... все равно бы проголосовала “как надо”? За исключение и за изгнание. По той полуосознанной причине, что нет у Анны Ивановны Гошкиной отчаяния – менять родимый вертеп на заграничный, по каковой причине она и не “встряивает” головой, чтобы подумать на эти исключительные темы.

А вот случись с изгнанником беда и попади к ней опять под нож его бездыханное тело, она, зная о нем все: и что связан он с

сионистами, и что заигрывал с церковниками, вздохнула бы: “Плохо дело, голубчик... очень плохо дело”, – и пошла бы его спасать.

Потому что есть законы вертепа, и только вообразив себя Богом, можно делать вид, что их нет.

А вот чего действительно нет, так это хирургии, которая безболезненно отделила бы “народ” от “системы”. Поди же угадай, что при этом потечет: может, морковный сок, а может, кровь.

*Ах, Россия, Россия –
Ни конца, ни спасенья!*

– запел заплаканный певец, положивший на стол красную книжечку члена СП СССР.

Система его вышибла, народ безмолвствовал, и не получилось разорвать петлю, стянувшую все это воедино.

*Что ни год – лихолетие.
Что ни враль, то Мессия!
Плачет тысячелетие
По Расее – Россия!
Выкликает проклятия...
А попробуй, спроси
– Да была ль она, братие,
Эта Русь на Руси?*

Для него больше – не было.

Оказавшись на свободном Западе, Александр Галич получил возможность обновить технику своего Театра: он купил новейшую систему звукозаписи, неосторожно схватился за контакты и получил смертельный удар тока.

Анны Ивановны поблизости не оказалось.

“Не зови меня, не зови, не зови...”

ПОХВАЛА СКУПОМУ РЫЦАРЮ, ИЛИ КОЕ-ЧТО ОБ ОТНЯТОЙ КОПЕЙКЕ

Андрей Чернов

ДЕНЬГИ – особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента. Стихийно выделились на определенном историческом этапе. В докапиталистических формациях роль денег выполняли различные товары (шкурки зверей, зерно, скот), постепенно она перешла к благородным металлам (золоту, серебру)... Функции денег: мера стоимости; средство обращения; сокровище; средство платежа; всемирные деньги...

Советский энциклопедический словарь. Москва, 1980.

В начале гайдаровских реформ я сидел в своей квартире на Васильевском острове и думал, где взять денег. Но вместо этого придумал (вы будете смеяться!), откуда деньги взялись. Рассказал сотруднице Пушкинского Дома Марии Виротайнен. Маша послушала и говорит: “Ну ты, конечно, понял, что в 1830 году Пушкин в такой же ситуации пришел к тому же выводу о природе денег? Помнишь, что говорит Скупой рыцарь, опуская в сундук очередную пригоршню золотых?”

*Усните здесь сном силы и покоя,
Как боги спят в глубоких небесах.*

Маша права: Пушкин и тут всех опередил.

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КЛАДОВ

В детстве, когда мне было лет пять, наш двор внезапно охватила странная эпидемия. Это называлось “играть в секретики”. Надо было набрать какой-нибудь мелочи – осколков цветных стекляшек, листиков или цветочных лепестков, и закопать их в соседнем сквере, накрыв нагюрморт сверху осколком оконного стекла.

Свои “секретики” полагалось регулярно проверять (раскопал до стеклышка, полюбовался и опять засыпал), а чужие – разорять. Достаточно было его лишь обнаружить, и “секрет” становился несекретным, терял свою силу. Какую? Какую-то нам непонятную, то есть магическую. Хотя и слова такого мы не знали.

– Свет, а я твой “секретик” нашел!

А разъяренная Светка сама уже бежала, чтобы каблуком сандалика втоптать в землю ставшее несокровенным сокровище.

Зачем, а вернее, почему мы все это проделывали, я сообразил много позже, когда познакомился с петербургским археологом Евгением Рябининым.

Вспомнили, как Христос отверг золотую монету, указав на изображенный на ней портрет римского императора: “Богу Богово, а кесарю – кесарево”. Говорю Рябину: мол, золотые кружки первоначально должны были символизировать солнце, а серебряные – луну. А придумать это должны были на Ближнем Востоке не кто-то, а именно жрецы, которые тогда были одновременно и звездочетами, и магами, и теми, кого после назовут алхимиками.

Меняя скот или вино на желтый храмовый кружок, человек получал возможность сделать “вклад” – попросить богов о милости. Как сделать? Да элементарно, как мы это делали с нашими кладами-секретиками.

Первые монеты, появившиеся еще до новой эры, были, впрочем, из сплава золота и серебра. Позднее стоимость монет дифференцировалась. На медных монетах пушкинского времени можно прочесть, например: “Две копейки серебром”. А первые бумажные деньги, появившиеся в XVII веке в Северной Америке, это по сути – векселя (только выданные не пушкинским “милейшим Соломоном”, но присвоившим его ростовщические функции государством).

Пушкинский барон Филипп, то есть Скупой рыцарь, – человек не своего времени. В средневековье он так же архаичен, как коммунист Анпилов в конце XX века. И потому должен презирать ростовщика Соломона не по национальному, религиозному или сословному, а совсем по иному признаку. Так и мы презирали бы того, кто посмел присвоить себе сокровища из чужого “секретика”. Другое дело, что Скупой рыцарь, спускаясь в свой подвал, мнит себя обладателем сокровищ. Вспоминая про “спя-

щих в небесах” языческих богов, барон уже не помнит, что клад – это не твое, поскольку ты отдаешь его богу, чтобы за серебряную монету купить месяц, а за золотую – год удачи.

В древности клад прятался в труднодоступном месте, и человек, его закопавший, меньше всего думал, как бы изъять его и пустить в оборот. Горе, если клад был похищен или возвращался. Это значило, что боги его не приняли.

Выслушав меня, Рябинин снял с полки книгу и показал мне фотографию так называемого Петергофского клада. Это клад купеческих монет – серебряных арабских дирхемов, найденный в Петергофе накануне Великой Отечественной войны. Монеты пролежали в земле более тысячелетия. На них рисунки крылатых мечей и дев-прорицательниц и надписи – от греческой до тюркских и арабских.

Рябинин пояснил, что клады бывают разными. Одни из них прячут в момент опасности, чтобы потом вернуться. Другие, как этот, из Петергофа, явно положен не одним человеком, а целой, причем интернациональной, бригадой. Это, если угодно, – уставной капитал некоего древнего “совместного предприятия”, только внесенный не в банк, а в труднодоступное для вора место, скажем, в болото.

– Слушай, – говорю, – а помнишь у Шекспира, когда Горацио пытается остановить тень старого Гамлета, он заклинает:

Скажи,

Когда при жизни предал ты земле

Сокровища, ведь, говорят, за это

Вы, призраки, и бродите ночами...

Значит, в шекспировскую эпоху еще помнили: сокровища передают земле, чтобы расплатиться с языческими богами. Церковь это знала, а потому боролась с такими жертвоприношениями и пугала тем, что предавший земле сокровища станет после смерти привидением.

Да и в Библии есть притча про человека, который закопал в землю свой талант (не дар, а монету), и остался ни с чем. То есть традиции приносить в жертву монетку – как минимум несколько тысяч лет!

И если я прав, то монетами люди поначалу расплачивались не друг с другом, а с богами!

...Археолог Рябинин на это лишь улыбнулся. То ли корректной улыбкой доктора исторических наук, то ли лукавой улыбочкой человека, который свой собственный талант вот уже тридцать лет закапывает на Земляном городище Старой Ладogi – первой столицы Древней Руси.

ПОКРУЧЕ МАРКСА

Когда в России только еще начинался августовский финансовый кризис, какой-то шутник-тассовец разослал во все средства массовой информации сообщение, что в этом году в Старой Ладогe архeологи обнаружили первое платежное средство Древней Руси – стеклянные “глазчатые” бусы. Информацию эту, тут же попавшую не только на радио и телевидение, но и в традиционно респектабельные “Известия”, тассовец взял, видимо, из моей статьи в “Огоньке” (№ 29) или в журнале “Знание – сила” (№ 5). Но чтобы новость была погорячей, подновил открытие, сделанное четверть века назад тем же Евгением Рябининым.

В 1114 году редактировавший “Повесть временных лет” Нестор приехал из Киева в Ладогy и записал: “...поведали мне ладожане, как тут есть. Когда бывает туча великая, находят дети наши глазки (ударение на последнем слоге – А.Ч.) стеклянные и малые, и великие, проверченные. А другие подле Волхова берут, которые выплескивает вода. У них же взял более ста, и все разные”.

В Ладогe пересекались два главнейших для Европы торговых пути – из “варяг в греки” и из “варяг в арабы”. Об этом свидетельствует культурный слой, в каждом квадратном метре которого архeологи находят в среднем полдюжины домонгольских бус. Бусы не только привозились из Индии, Закавказья, арабских стран, из Западной и Северной Европы, но и изготавливались с 780-х годов в самой Ладогe. Стеклоделательная мастерская и была обнаружена на Староладожском Земляном городище Е.А.Рябининым. Здесь делали бисер и те бусы, которые Нестор назвал “глазками”. (В среднем один “глазок” приходится на десять квадратных метров культурного слоя.)

“Глазки” были первыми русскими деньгами. Арабский путешественник X столетия пишет, что за крупную красивую бусину на Руси можно купить раба или рабыню.

Ладожская стеклодельня еще до крещения Руси работала в режиме эмиссионного банка. “Глазков” можно было наделать хоть миллион. Но тогда бы они быстро обесценились. Поэтому стеклоделы всюду экспериментировали с “глазками” – меняли их величину и цвет. (Как подсчитал Рябинин, до четверти бусшло в брак.)

Мы привыкли, что все купюры одного достоинства должны быть совершенно одинаковые, а ладожане про свои стеклянные деньги думали как раз наоборот.

“Глазки” и бисер они меняли у окрестных охотников на пушнину, а пушнину продавали арабским купцам за серебро. Но если глазки будут повторяться, местным охотникам (а главное, их женам) они скоро надоедят. Ведь ценится только дорогая, необычная бусина.

Мастеров для выделки стекла ладожане вывезли из арабского Востока. Оттуда же наладили и бесперебойную поставку необходимого для стеклоделия сырья – золы солончаковых растений. Позже, уже веке в X, перешли, впрочем, на местное сырье.

Поразительно, но обнаружение Евгением Рябининым стеклодельни, работающей по арабской технологии с конца VIII столетия, позволило совершенно по-иному взглянуть на начальную страницу русской истории.

В Ладожской стеклодельне с “глазками стеклянными” вываривалась будущая Россия. Накопленного за несколько десятилетий капитала хватило, чтобы пригласить в Ладогу викинга Рюрика. Он должен был обеспечить безопасность торговых караванов на Балтике и защиту самих ладожан от нападений шведов.

На те же, добытые при “тройном обмене” арабские деньги пришедший в Ладогу Рюрик отстраивает Новгород (точнее – Рюриково городище близ Новгорода), а его наследник вещий Олег объединяет Северную и Южную Русь в одно государство.

Известно нам и имя жившего в IX столетии финансового гения ильменских славян, при котором расцвела ладожская стеклодельня. Его звали Гостомысл, то есть “намысливший гостей”. “Гости” в древнерусском – купцы. То есть “замысливший торговлю”.

ДЕНЬГИ И КАЛЕНДАРЬ

К обычаю хоронить клады имеет самое непосредственное отношение и наш обычай бросать монетку в месте, куда бы нам хотелось вернуться.

Только вот с точки зрения предков мы делаем крупную ошибку. Бросаем в море, а едем домой поездом или летим самолетом. (А это разные стихии и, соответственно, разные боги!)

Новгородские рыбаки до XX века кидали в Волхов монетку, когда шли мимо Перыни, полуострова, на котором находилось разрушенное в 891 году святилище бога Верхнего мира – Перуна. Обряд жертвоприношения низвергнутому богу продолжался еще почти тысячу лет!

Ладожане тоже бросали арабские дирхемы и “глазки” в Волхов. Они плагили уже Велесу, богу Нижнего Мира. Выходя в Волхов, за возможность беспрепятственно вернуться назад, они должны были дать взятку коварной реке и Велесу.

Раньше в жертву Велесу приносили по жребию деву или юношу, топя их напротив святилища Велеса в Любшином омуте. С появлением стеклодельни нужда в кровавых жертвах отпала. Велес должен был принять кусочек многоцветного стекла, столь похожий на глаз бога Одина, отданный последним за право испить из источника мудрости в Нижнем Царстве. Ведь “глазок” очень напоминает глазное яблоко человека.

Только зрачков на “глазке” не один, а несколько, как на панцире божьей коровки. Скорее всего, миф о “божьем” глазе Одина и повлиял на русское название безобидного жучка, которого просят: “Полети на небо, принеси нам хлеба”. Видя, как взрослые “на удачу” бросают в реку “глазок”, дети находили такой же, только живой, и пускали его в небеса. Не за удачей - “за хлебом”.

Потом миф забылся, а детская игра осталась.

В этом году, в последний день своего отпуска я подобрал в Ладоге на Земляном городище темно-синий глазок с желтыми, как луны, пятнышками. Глазок оказался “ладожского типа”, то есть из рябининской стеклодельни. В Москве я пересчитал количество этих самых “лун”. Естественно, их оказалось двенадцать. И все “луны” сгруппированы по три в четыре треугольника. Что это? Да просто четыре времени года – зима, весна, лето и осень.

Мастер, очевидно, рассчитывал, что один “глазок” потянет на дюжину серебряных дирхемов. Ведь счет на дюжины – это счет полного набора из двенадцати сребреников. За золотник Владимира Красное Солнышко давали именно двенадцать его же сребреников. Подкрепим это наше утверждение ученой цитатой: “Возможность соотнесения золотой монеты с двенадцатью серебряными динариями, – утверждает современный исследователь С.Н.Кистерев, – позволяет усмотреть совпадение в размере платежа епископу с одного плуга у прибалтийских славян, татарской дани с сохи в Северо-Восточной Руси и хазарской дани вятичей от рала”.

Почему так, а не иначе, С.Н.Кистерев не объясняет. Но ведь “вокруг солнца” в году рождается именно двенадцать лун.

Слово “дань” государство заменило словом “налог”. Но первые налоги платились в размере того, что человек добровольно жертвовал богам за свое земное благополучие. Чтобы жертва государству (или захватчикам) стала обязательной, власть имущие объявили себя наместниками богов, другими словами – их земными заместителями.

Разумеется, поверили им не все и не сразу.

Если Волхов исторгал “глазки” более чем через век после крещения Руси, можно смело сказать, что в Любшином омуте и в омуте перед Ладожской крепостью “глазков”, а также полновесного арабского серебра и сегодня – не один десяток килограммов. Вот только добраться до этих сокровищ довольно трудно. Волховские омуты заповедны. Это метров двадцать воды и пара метров ила.

Одна из пожилых ладожанок вспоминала, что в тридцатых, когда колесные пароходы приставали к ладожской пристани, они намывали со дна столько бусин, что в доме от них некуда было деться. Как и восемьсот лет назад, дети приносили их в избу, а матери потихоньку собирали и выбрасывали в тот же Волхов.

“Глазки” – вовсе не ладожское изобретение. Но когда в последние дни лета в хранилище Государственного Эрмитажа Злата Александровна Львова показывала мне те, что найдены в Закавказье и в аланских курганах на Дону, я увидел, что ладожских, похожих на разноцветных божьих коровок, среди них нет. Очевидно, приехавшие в Ладогу арабские мастера очень быстро сумели угодить вкусам местных славян и финнов. Южные “глаз-

ки” архаичны и грубы. Наши, ладожские, – веселые, разноцветные, почти живые.

– Я уверена, – призналась Львова, когда мы закрыли последний стеллаж с древними бусами, – что без ладожских “глазков” не было бы и древнерусского государства.

– Конечно, – согласился я, – но не было бы и самого русского слова “глаз”...

Глаз по-древнерусски именовался “око”. “Глаз”, или “глазок”, – это именно стекло, бусина (от древнескандинавского “glas” – стекло, янтарь.) И, видимо, мы сегодня называем глаз глазом только благодаря ладожским глазчатым бусинам, столь удивившим некогда летописца. Просто слово “глазок” с ладожскими “глазками” разошлось по Руси, чтобы через несколько веков, когда все забыли не только о ладожской стеклодельне, но и о самой Ладоге, вытеснить из разговорного языка слово “око”.

“ОТНЯЛИ КОПЕЕЧКУ!”

На Руси первую попытку обожествить деньги предпринял наш креститель князь Владимир.

Подражая византийским императорам, он на одной стороне золотых и серебряных монет чеканил Христа, а на другой – себя.

Взяв такую монету, Христос уже не смог бы сказать “Богу Бо- гово, а кесарю – кесарево”.

И в том, что Владимира Святославича в народе прозвали не как- то, а “Красное Солнышко”, – виноваты, очевидно, именно золотые с портретами Владимира Святого, первые русские монеты.

После на Руси будет еще немало денег с изображением кеса- рей всех мастей, но вся эта история закончится другим Владими- ром, только не Святославичем, а Ильичом, чей курносый про- филь напечатан на красном советском (деревянном) червонце. Впрочем, когда надо было налаживать экономику, тот же Ленин печатал не бумажные, а золотые червонцы.

Сегодня еще и года не прошло, как отзвенела по ТВ реклама: в Россию, мол, возвращается копейка. И ни одному из карикату- ристов еще не пришло на ум изобразить постсоветский народ в виде причитающего над отнятой копеечкой пушкинского юриди-

вого. Ну действительно, кому в голову придет убиваться по одной десятой американского цента?

Говорят, что от гиперинфляции и последующего распада России нас могут спасти только “твердые” деньги. В который раз за последние двенадцать веков Россия вынуждена начинать едва ли не с финансового нуля. Утверждают, что этот самый “нуль” должен быть полновесным золотым червонцем (а не дыркой от бублика). Ведь нынешним бумажным российским деньгам мы, народ, долго еще не будем верить.

Ну, а если у страны дефицит драгметаллов, наверное, можно ввести гарантированный заменитель золотых монет – что-то вроде гостомысловых “глазков”. Не стеклянных, конечно, а бумажных, но таких бумажных, которые были бы обеспечены чем-то высшим, то есть, если угодно, – сакральным.

Таковы наша национальная психология и исторический уровень сегодняшней российской ментальности. В России, если деньги теряют функцию сокровища, это обязательно приводит или к медным бунтам, или к “керенкам”, которыми в двадцатые обклеивали под обои стены коммуналок.

И даже не экономист знает, как сделать бумажный эрзац (то есть вексель государства) полновесной валютой. Это произойдет само, когда управленческая элита государства докажет народу, что она – часть народа и обслуживает не свои номенклатурные (то есть шкурные) интересы, а потребности общества.

Потому что нынешняя российская элита до сих пор проводила “рыночные” реформы для себя, и только. И общество это скоро сообразило.

Некогда первые американские колонисты тоже обменивали у индейцев бусы на золото. Через несколько веков их потомки изобрели бумажные дензнаки, а в XX столетии и вовсе открепили доллар от золота. Наши предки, далеко не уезжая (ну разве что до Камы), меняли ладожские “глазки” на меха и, придумав “тройной товарообмен”, сумели выкачать из Арабского Востока столько серебра, что после хватило на создание Российской империи.

Так, может, сегодня нам нужен не Примаков, а Гостомысл, не Геращенко, а Скупой рыцарь?

ЧАДОВИЩЕ

Михаил Яснов

К РЕЧКЕ УТОЧКИ БРЕЛИ...

К речке уточки брели –
Переваливались,
А собаки с берегов
Перелаивались:
– Гав!.. Гав!..
– Кря?.. Кря?..
– Вы потонете зазря!
Отвечали хромоножки:
– Нам в реке полно кормёжки,
Мы на то
И уточки,
Чтобы плавать
Туточки!

МЫ И ПТИЦЫ

Мы птиц проходим.
Всё, как есть, –
Строенье, оперенье,

И что, и сколько могут съесть,
Полёт их и паренье.
Мы птиц проходим.
А они –
Они нас пролетают,
Глядят на школьные огни
И знать про нас не знают.
Живут среди ветвей густых,
Своих птенцов выводят,
Покуда школьники про них
Каракули выводят.
Вот если бы наоборот –
Летали мы на воле,
Тогда они бы круглый год
Нас проходили в школе:
О чём болтаем, что зубрим,
Что в переменку съели,
С кем подрались...
А мы бы им
Чирикали и пели!

ЧАДОВИЦЕ

У папы-чудовища
Выросло чадо,

С которым встречаться, наверно, не надо.
Огромное, страшное –
То еще:
Не чадо,
А просто ЧАДОВИЩЕ!
Куда убежать
От такого дитяти?
Оно разломало четыре кровати,
И вдрызг перебита посуда,
Не чадо,
А жуткое чудо!
Но папа-чудовище смотрит на сына
И горько вздыхает:
– Какая кручина!
Мой хилый,
Мой бедный сынуля
Сидит за столом
И на стуле!
Вот я-то
Когда-то,
В его-то годочки,
Все в доме ломал –
До последней досочки,
Моя разудалая сила
И крышу порой уносила!..
Чадовище смотрит с любовью на папу

Сосет по привычке не палец,
А лапу,
И вдруг
Как бабахнет по стулу –
Чуть папу из дома не сдуло!
И думает дедушка
Там, на портрете:
“Какие хорошие выросли дети!..”
Он выглядит грозным и хмурым,
Но смотрит
С лукавым прищуром.

НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ!

Шёл по улице бульдожка,
У него чесалась ножка.
Отвлекаться он не стал –
Ножку
ушком
почесал!

РЕТРОПОЛ

магазин русской книги в Бостоне

На наших полках – тысячи книг. Это художественная литература – античная, классическая и современная, русская и в переводе на русский; биографии, мемуары. Это философская и религиозная литература, книги по психологии, социологии, литературоведению и культурологии. У нас большой выбор детских и юношеских изданий: легенды и мифы народов мира, книги по искусству, подарочные альбомы и календари. Вы можете купить у нас учебники, справочники, словари, пособия и руководства по программированию. В продаже компакт-диски, аудио- и видеокассеты.

*Мы доставляем заказы в любой город США и за пределы страны.
Цена доставки \$2 независимо от количества книг (по США).*

**Заказы направляйте по адресу: 1428 Beacon Street Brookline, MA 02446
tel: (617)232-8820 / (800)404-5396, fax:(617)713-0418, e-mail: petropol@gis.net**

Наши книги:



Левитанский Ю.
Когда-нибудь после меня
М.: 1998. - 608с. \$12.95

Русские художники
Энциклопедический словарь
СПб.: 1998. - 860с. \$89.95





Бабель И. Сочинения в 2-х томах.
Подарочное издание. М.: 1996. \$17.95

Русский балет
Энциклопедия.
Подарочное издание
М.: 1997. - 631с. \$29.95



Чуковская Л.
Записки об Анне Ахматовой
В 3-х томах. М.: 1997. \$39.95

Филатов Л. Стихи. Песни.
Пародии. Сказки. Пьесы.
Киноповести. Екатеринбург:
1998. - 543с. \$9.95



Гомбрих Э.
История искусства
М.: 1998. - 688с. \$39.95

Шпаликов Г. Я жил как жил. М.: 1998. - 528с. \$11.95
Щеглов А. Раневская: фрагменты жизни. М.: 1998. - 300с. \$10.95
Толстая Т., Толстая Н. Сестры: сборник. М.: 1998. - 393с. \$9.95
Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: 1998. - 325с. \$13.95
Шаламов В. Собрание сочинений в 4-х томах. М.: 1998. \$39.95
"Синий всадник". Под ред. **В. Кандинского** и **Ф. Марка**. М.: 1996. \$9.95
Самойлов Д. Беатриче. СПб.: 1997. - 72с. \$5.95
Самойлов Д. За третьим перевалом. СПб.: 1998. - 548с. \$13.95
Герштейн Э. Мемуары. СПб.: 1998. - 528с. \$13.95

и многое, многое другое...

ЭМИГРАЦИЯ

Марк Фельдман

* * *

*Нет у нас родины, нет нам изгнания.
М.Лермонтов*

Как мир нам скучен! Да и мы
Себе скучны до омерзенья...
Я говорю: судьбу прими
И не откладывай решение.

Его не будет – не храбрись,
Лишь сменишь место проживания,
И жизнь станет, как каприз,
Как из души твоей изгнание.

Нас заберут к себе Мадрид,
И Рим, и Тель-Авив, и Бостон,
Но разрыдаемся навзрыд
Среди своих московских простынь.

Не то, чтоб ностальгии ад, –
Бездомности удел замучил...
Вся наша жизнь – невпопад,
Истории несчастный случай.

Произведения в рубрике "Самиздат" печатаются за счет автора.

Улетайте без любви:
Эмиграция – жестока,
Рассыпаются, увы,
Наши чувства раньше срока.

Улетайте без мечты
И без Памяти о прошлом –
Вы привыкнете быть пошлым
От вседневной маяты.

Улетайте без себя,
Постарайтесь быть безличным,
Сантименты истребя,
Всюду чувствуйте отлично!

Улетайте без страны,
Без семейного альбома,
Чтоб потом не мстили сны,
Одиночество – без дома.

Не жалейте ни о чем,
Провожать не разрешайте –
Мир живет одним лишь днем,
Не терзайтесь – улетайте!

ВОСПОМИНАНИЕ

Александр Гольдин

Г.К.

Вечерет. Звезды меркнут.
Над свинцовой водой –
В темном небе птица-беркут,
Птица-беркут молодой.

Отчего душа в печали
И морщины на лице?
Пусть напомнит о причале
Гравировка на кольце...

Было счастье нам и горе.
Были долгие года.
Это море, ночь в Мисхоре –
Не забуду никогда.

Разнесла нас жизнь-подруга –
И не видно ей конца,
И не вырваться из круга,
Словно пальцу из кольца.

Океан мне плещет в ноги,
Ни проехать, ни пройти.
Эх, дороги, вы, дороги,
Много вас, но нет пути!

Стих прочтешь и вспомнишь, Галя,
Ты, кого уж больше нет.
Я тебе из дальней дали
Шлю печальный свой привет.

Произведения в рубрике "Самиздат" печатаются за счет автора.

Аннинский, Лев Александрович – род. в 1934 году в Ростове-на-Дону. Окончил филфак МГУ. Публицист, культуролог. Автор более 20 книг. Круг интересов включает в себя русскую, советскую литературу, театр и кинематограф. Первая книга “Ядро ореха”, последняя “Серебро и чернь” издана в 1997 г. В настоящее время – главный редактор журнала “Время и мы”. Живет в Москве.

Генис, Александр Александрович – род. в 1953 г. в Рязани, жил в Риге, с 1978 года – в Нью-Йорке. Работает в эмигрантской и (с 1989 года) российской прессе, на Радио Свобода (ведущий культурно-политической программы “Поверх барьеров”). Автор книг (с П.Вайлем) – “Потерянный рай”, “60-е”, “Русская кухня”, “Американа” и др. С 90-го пишет без соавторства – книги “Американская азбука” (94), “Вавилонская башня” (96), “Темнота и тишина” (96) и др.

Гольдин, Александр – род. в 1938 г. в Киеве. Майор в отставке. Печатался в военной периодике. В США с 1994 г. Пишет стихи, рассказы, пьесы.

Губерман, Игорь Миронович – род. в 1936 г. в Москве. Поэт. Автор книг по истории науки, нескольких сценариев. В 1979 году был арестован за участие в самиздаговском журнале “Евреи в СССР”. Провел в тюрьме и ссылке пять лет. С 1988 г. живет в Израиле. Опубликовал шесть сборников стихов и воспоминания о лагере “Прогулки вдоль барака”.

Жуховицкий, Леонид Аронович – Прозаик. Печтается с начала 60-х годов. И при диктатуре, и при демократии – всегда писал о любви. Книги переведены на многие языки народов мира. Наиболее известные – повесть “Я сын твой, Москва” и роман “Остановиться – оглянуться”. Живет в Москве.

Иртеньев, Игорь Моисеевич – род. в 1947 г. в Москве. Окончил Ленинградский институт киноинженеров и Высшие сценарные курсы. Поэт. Автор 10 сборников стихов. Лауреат премии “Золотой Остап”. Работает в жанре иронической поэзии. В настоящее время – главный редактор журнала “Магазин”. Живет в Москве.

Кушнер, Александр Семенович – род. в 1936 г. в Ленинграде. Поэт. Окончил Ленинградский педагогический институт им. Герцена. Первая книга лирики – “Первое впечатление” – вышла в 1962 г. Автор более двадцати книг стихов и исследований по истории русской поэзии. Лауреат Государственной премии России (1996). В настоящее время – главный редактор серии “Библиотека поэта”. Живет в Санкт-Петербурге.

Немировская, Юлия Александровна – род. в 1962 г. в Москве. Поэт и прозаик. Окончила филфак МГУ, защитила диссертацию по творчеству Пушкина. С 1990 г. преподает русскую литературу и культуру в университетах Европы и Америки. В настоящее время живет в США. С 1993 г. постоянный профессор в

университете имени Бригама Янга, в штате Юта. Пишет романы, рассказы, статьи, стихи и пьесы.

Померанцев, Игорь Сергеевич – род. в 1948 г. в Саратове. Поэт, культуролог, журналист. Ведущий программы “Поверх барьеров” на радио “Свобода”. Из России уехал в 1978 г. Первую – прозаическую – книгу издал в Лондоне в 1985 г., первый поэтический сборник – в Санкт-Петербурге: “Стихи разных лет” в 1993 г. В настоящее время живет в Праге.

Пригов, Дмитрий Александрович – род. в 1940 в Москве. Поэт, художник, скульптур. Многолетний участник московского андерграунда. Печатается с конца 80-х годов. Первая книга “Следы геральдической души” опубликована в России в 1990 г. Одна из последних книг “Советские тексты” опубликована в изд. Ивана Лимбаха в 1997 г. Общепризнанный лидер русского концептуализма.

Сельц, Евгений – род. в 1958 г. в Сибири. Поэт, прозаик, журналист. Окончил Томский политехнический институт по прикладной математике и Литературный институт им. Горького в Москве. С 1991 года живет в Израиле, в Тель-Авиве. Автор двух поэтических сборников. Готовятся к изданию книга новелл и книга эссе. В настоящее время работает в газете “Русский израильянин”.

Стругацкий, Борис Натанович – род. в 1933 г. в Ленинграде. Писатель-фантаст, кинодраматург. Окончил механико-математический факультет ЛГУ с дипломом астронома, работал на Пулковской обсерватории. С 1960 г. – профессиональный писатель. Лауреат премии РСФСР (1986). В соавторстве с братом Аркадием Натановичем Стругацким (1925-1991) создал свой неповторимый фантастический мир. Наиболее известные произведения: “Понедельник начинается в субботу”, “Пикник на обочине”, “Сказка о тройке”, “Улитка на склоне”.

Фельдман, Марк – род. в 1932 г. в Москве. Преподавал литературу и писал публицистику. В 1990 г. эмигрировал в Израиль. Работал журналистом в русскоязычных изданиях. В настоящее время живет в США. Публикует стихи, рассказы, статьи в местной прессе.

Чернов, Андрей Юрьевич – род. в 1953 г. в Ленинграде. Поэт, журналист, историк литературы. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор четырех сборников стихов. Перевел и прокомментировал “Слово о Полку Игореве”. Автор многочисленных исследований (Пушкин, декабристы, история России) и статей по культурологии. Живет в Москве и Санкт-Петербурге.

Яснов, Михаил Давидович – род. в 1946 г. в Ленинграде. Поэт, переводчик, детский писатель. Окончил Ленинградский государственный университет. Автор четырех книг лирики, десяти книг стихов для детей и многочисленных переводов, в основном, из французской поэзии. Составитель трехтомной антологии французских детских стихов “Поэзия вокруг нас”. Живет в Санкт-Петербурге.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Кушнер	
Восемь стихотворений	5
Леонид Жуховицкий	
В близком отдалении. Повесть	12
Лао-Цзы	
Отрывки из “Дао Дэ Цзын” (переложения А.Гениса)	57
Юлия Немировская	
Из цикла “Симметрии”. Эссе	61
Борис Стругацкий	
Комментарии к пройденному	77
Д.А.Пригов	
В моей оставленной России. Стихи	98
Евгений Сельц	
Из цикла “Compelle intrare”. Рассказы	105
Игорь Померанцев	
Бег поверх барьеров. Эссе	142
Игорь Иртеньев	
Винегрет. Стихи	155
Игорь Губерман	
Закатные гарики. Стихи	159
Лев Аннинский	
Счастливая несчастная Россия Галича	161
Андрей Чернов	
Похвала Скупому рыцарю	171
Михаил Яснов	
Чадовище. Детские стихи	180
Марк Фельдман, Александр Гольдин	
Поэзия “Самиздата”	186
Сведения об авторах	189

Набор – М. Тубельская
 Корректурa – Е.Катишонок
 Верстка – В.Тубельский

SUMMARY

Monthly literary magazine "Kontrapunkt" No. 1

Eight new poems written by one of the most significant Russian poets, Aleksander Kushner. Kushner contemplates homeland, creativity, and love.

"Commentaries to the past" – is the name of the documentary prose, written by Russia's most famous fiction writer Boris Strugatsky. In these lively and humorous commentaries Strugatsky writes how, together with his brother and co-author Arkady, they wrote their novels "Ponedelnik nachinaetsya v subbotu" (Monday begins on Saturday) and "Trudno byt bogom" (Tough to be a god). To be continued in the second issue.

Short stories written by Israeli writer and poet Evgeny Seltz, "Kogda vernetsya malenkii bozok" (When a little god returns) and "Belosneznaya korova Io" (Snow white cow Io). Readers will follow the author to China, Columbia, Ancient Greece, and fascist Germany. However, behind the exotic screen of the narration there are always the realities of Israeli life.

In his story "V blizskom otdalenii" (In close isolation), Russian writer Leonid Zuhovitsky writes of a young artist's love for a rising movie star. In the West, Zuhovitsky is often compared to Leo Buscaglia. In this new work the writer stays true to himself and contemplates love, creativity, talent and burden of an artist. To be continued in the second issue.

Julia Nemirovskaya's essays describe the lives of Russian immigrants in America, compared to the lives of Americans. Nemirovskaya, professor at the Brigham Young University in Utah,

looks at Russian culture and soul, and with a sharp pen paints her life in America.

Famous essayist and culture expert Aleksander Genis, translates from Lao-Zi's "Dao De Jing". This new rendition of the classical Chinese philosophical work is completed in the contemporary language and sounds new-fashioned.

Painter, poet and leader of Russian conceptualism, D.A. Prigov, in his poetic cycle "V moei ostavlennoi Rossii" (In my left Russia), looks at the faiths of Russian intelligentsia, and of Russia old and new.

In his essay "Pohvala Skupomu rytsaru, ili koe-cto ob otnyatoi kopeike" (Praise to the Stingy hero, or something about the taken away penny), Muscovite Andrey Chernov, discusses the theme of the derivation of money and forms brave assumptions as to the origin of money in Ruse.

Mikhail Yasnov's new children's poems strengthen his standing as one of the most talented Russian children's poets of today.

The anchor of Radio "Svoboda" Igor Pomerantsev describes in his essays "Beg poverh barierov" (Run above the barriers) the work of the radio journalist. The interviews of Pomerantsev with the sons of Sergei Prokofiev and Vladimir Nabokov are also published.

Lev Anninskiy's sketch "Schastlivaya neschastnaya Rossiya Galicha" (Happy, unhappy Russia of Galich) describes the life and work of one of the most talented and famous Russian bards Aleksander Galich.

В следующем номере:

Александр Генис

Леонид Жуховицкий

Наум Коржавин

Сергей Мирный

Вячеслав Пьецух

Нина Садур

Генрих Сапгир

Борис Стругацкий